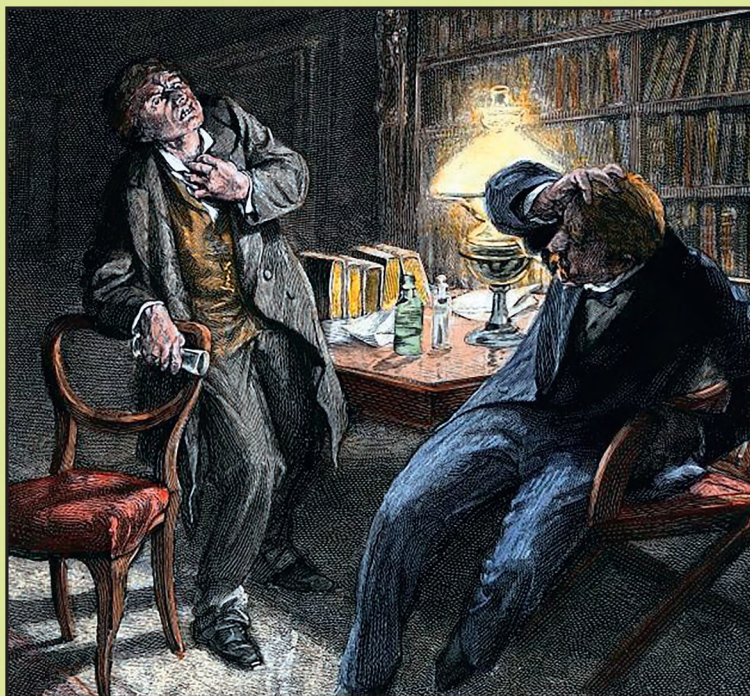


ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИКА

РОБЕРТ ЛЬЮИС
СТИВЕНСОН



СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА • ПРИТЧИ

РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА • ПРИТЧИ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ЭДМУНДА САЛЛИВАНА
ЧАРЛЬЗА МАКОЛИ
Е. Р. ГЕРМАНА

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИКА

Роберт Льюис Стивенсон

СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА



ПРИТЧИ

Переводы

Е. М. Чистяковой-Вэр

С. Ю. Афонькина

Иллюстрации

Эдмунда Салливана

Чарльза Реймонда Маколи

Е. Р. Германа



Санкт-Петербург

СЗКЭО

Москва

ОНИКС-ЛИТ

ББК 84.4
УДК 821.111
С80

С80 **Стивенсон Р. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Притчи.** — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2020. — 176 с., ил.

История про доктора Джекила и мистера Хайда была написана Стивенсоном в 1886 г.; она стала ярким примером жанра зарождающейся научной фантастики. Наряду с «Франкенштейном» М. Шелли и «Дракулой» Б. Стокера это произведение остается классикой литературы ужасов. Историю раздвоения личности ученого-исследователя иллюстрируют рисунки Чарльза Маколи и Эдмунда Салливана. В конце издания приводятся двадцать философских сказок-притч Стивенсона, впервые публикуемых в переводе на русский язык с иллюстрациями Е. Р. Германа, выполненными в стиле модерн для издания 1914 года, выпущенного тиражом 105 экземпляров.

ISBN 978-5-9603-0508-2

© СЗКЭО, 2020

**СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА**

ГЛАВА I

История двери

Нотариус мистер Аттерсон казался суровым, его лицо никогда не освещалось улыбкой; говорил он холодно, кратко, скупясь на слова и нередко подыскивая выражения. Чувств своих Аттерсон не любил показывать. Он был высокий, худощавый, угрюмый человек, но все-таки до известной степени привлекательный. Во время дружеских пирушек, в особенности же, когда вино приходилось по вкусу Аттерсону, в его глазах мелькало что-то мягкое, человеческое, что-то, никогда не проскальзывающее в его речах, но проявлявшееся не в одних молчаливых взглядах после обеда; чаще и сильнее выражалась мягкость нотариуса в его поступках и образе жизни. Он был суров к себе; пил джин, когда бывал один, чтобы заглушить пристрастие к вину, и, хотя любил спектакли, в течение двадцати лет не переступил порога ни одного из театров. Зато Аттерсон был очень снисходителен к другим; нотариус иногда почти с завистью говорил о силе духа, скрывавшейся в проступках людей, и вообще охотнее помогал падшим, нежели осуждал их.

— Я склоняюсь к Каиновой ереси, — замечал Аттерсон, — я позволяю моему брату отправляться к дьяволу, как он сам того желает.

Ему случалось быть последним порядочным знакомым, последним хорошим советчиком погибавших людей. И пока они бывали у него, он не менялся по отношению к ним. Такая ровность обращения ничего не стоила

Аттерсону, потому что он был по натуре сдержан и так добродушен, что даже и дружил только с добродушными людьми.

Каждый истинно скромный человек вступает в тот дружеский круг, который посылает ему судьба. Так дей-



ствовал и Аттерсон. Друзьями нотариуса делались его родственники или очень старинные знакомые. Привязанность Аттерсона разрасталась как плющ с течением времени и не зависела от его сходства с избранным им другом. Этим, без сомнения, объяснялось, почему Аттерсон мог сойтись с Энфилдом, своим дальним родственником и довольно известным в городе человеком. Многие ломали себе голову над тем, что общего было у них,

что привлекало их друг к другу. Все встречавшие Ричарда Энфилда и Аттерсона во время их воскресных прогулок, говорили, что оба они бродили молчаливо, казались невеселыми и точно с облегчением обращались к каждому встречному знакомому. Несмотря на все это, и Аттерсон, и Энфилд очень ценили воскресные прогулки, считали их лучшим украшением каждой недели и, желая без помехи наслаждаться ими, не только отказывались от других удовольствий, но откладывали даже и деловые свидания.

Как-то раз они зашли в глухую улицу торговой части Лондона. Эта узкая улица была, что называется, очень спокойной, однако в течение недели на ней кипела торговля. Ее обитатели, по-видимому, жили недурно и надеялись со временем зажить еще лучше. Избыток доходов они тратили на украшение лавок, которые действительно казались приветливы и походили на ряд улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда закрывались привлекательные витрины, улица представлялась красивой в сравнении со своими грязными соседками, и сияла, точно огонь в лесу. Она нравилась прохожему заново выкрашенными ставнями своих домов, хорошо вычищенной медной отделкой дверей и окон, вообще чистотой.

Идя по торговой улице в восточном направлении, прохожий мог заметить, что через два подъезда от угла левая линия ее домов прерывалась входом во двор, в глубине которого стояло мрачное, неуклюжее здание. В его фасаде, обращенном к улице, не блестело окон, и была только одна дверь; второй этаж представлял собой глухую, побуревшую от времени стену. Все здание носило на себе следы полного запустения. Входная дверь, без звонка или молота, сильно покоробилась и была покрыта пятнами. В ее нише ютились оборванцы, зажигавшие спички о ее порог; дети играли на ступенях, которые вели к ней; школьник пробовал нож на украшениях стен старого дома, и никто не прогонял этих случайных посетителей и не поправлял следов причиненной ими порчи.

Мистер Энфилд и нотариус были на другой стороне улицы, но когда они поравнялись со входом во двор, Энфилд указал тростью на мрачный дом и спросил:

— Замечали ли вы когда-нибудь эту дверь?

Аттерсон ответил утвердительно, и Энфилд прибавил:

— В моем уме она соединяется с очень странной историей.

— Неужели? — сказал Аттерсон слегка изменившимся голосом. — А в чем дело?

— Вот в чем, — ответил мистер Энфилд. — Од-



нажды я возвращался домой издалека; было около трех часов утра; погода стояла хмурая, темная, только бесконечные фонари мерцали во мгле. Из улицы я переходил в улицу, все они были освещены, точно в ожидании процессии, и пусты как церковь; нако-

нец, я пришел в такое настроение, когда начинаешь прислушиваться к малейшему

шороху, и желалось встретить полицейского. И вот я увидел две человеческие фигуры: крошечный человечек шел на восток очень быстрой походкой, а вдоль поперечной улицы бежала девочка лет восьми или десяти. И вот, сэр, они столкнулись на углу; тогда-то произошло нечто ужасное: прохожий спокойно наступил на упавшую девочку и пошел дальше, не обращая внимания на ее стоны. Слышать об этом одно, но действительная картина произвела на меня адское впечатление. Прохожий показался мне не человеком, а каким-то отвратительным чудовищем.

Я закричал, схватил за ворот моего джентльмена и привел его обратно к месту происшествия, где вокруг стоившего ребенка уже собралась толпа. Он был совершенно спокоен, не сопротивлялся и только взглянул на меня таким отталкивающим взглядом, что холодный пот покатился по моему лицу. Люди, окружавшие девочку, были ее родственниками; вскоре появился и доктор, за которым бежала бедная малютка. Ребенку было не особенно худо, он больше перепугался. Вы, вероятно, думаете, что этим дело и кончилось? Однако следует упомянуть об одном странном обстоятельстве. С первого взгляда мой джентльмен внушил мне отвращение. Был противен он и семейству девочки, что было вполне естественно. Но меня поразил доктор. Он походил на обыкновенного аптекаря; ни его лета, ни его наружность не заставляли обращать на него особенного внимания; говорил он с сильным эдинбургским акцентом и казался отзывчивым, как вольтер. Слушайте же, сэр. Доктор Соубонс разделял всеобщие чувства и каждый раз, когда он взглядывал на моего пленника, то бледнел от желания убить его. Я понимал, что происходило в его уме, как он понимал, что творилось у меня в душе. Но так как об убийстве не могло быть и речи, мы поступили иначе: сказали моему джентльмену, что поднимем такой скандал, который опозорит его имя во всем Лондоне. Мы объявили ему, что если у него есть друзья и честное имя, он потеряет их после огласки истории. Говоря ему все это с большим жаром, мы в то же время старались не подпускать к нему женщин, потому что они были раздражены, как гарпии. Я никогда в жизни не видывал столько лиц, полных ненависти; и посреди их стоял странный человек с выражением какого-то мрачного, насмешливого спокойствия на лице. Я видел, что он испуган, что он скрывал свое чувство, точно сатана.

«Если вы хотите воспользоваться этим случаем и нажить капитал, — сказал он, — я, конечно, бессилён. Всякий порядочный человек избегает подобных историй. Скажите вашу цифру».

Ну-с, мы и назначили ему сто фунтов в пользу семьи ребенка; он, очевидно, хотел поторговаться, но в глазах многих из окружавших его людей светилась такая злоба,

что он, наконец, согласился. Теперь следовало получить деньги. И куда бы, вы думали, он провел нас? К этому дому, к этой двери! Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь, вошел в здание и сейчас же вернулся назад с десятью фунтами золота и чеком на банк Коутса, на подателя. Чек был подписан именем, которого я назвать не могу, хотя в этом-то и заключается одна из важнейших сторон моей истории. Следует только заметить, что это очень известное имя, часто повторяемое в печати. Мы назначили крупную сумму, но с такой подписью можно было получить гораздо больше. Я осмелился заметить незнакомцу, что дело походит на обман, что в обыкновенной жизни люди не входят в погреба в четыре часа утра и не возвращаются оттуда с чужими чеками. Однако он не смутился и насмешливо сказал:

«Будьте спокойны, я останусь с вами до открытия банка и сам получу деньги по чеку».

Итак, все мы: доктор, отец девочки, наш приятель и я сам, отправились ко мне и провели остаток ночи в моей квартире. Когда настало утро, мы позавтракали у меня и пошли в банк. Я сам подал чек и сказал, что имею все причины думать, что подпись подделана. Ничуть не было. Чек оказался настоящим.

— Эге!.. — произнес Аттерсон.

— Я вижу, что вы разделяете мои тогдашние чувства, — сказал Энфилд. — Да, это скверная история; с таким дурным человеком, казалось бы, никто порядочный не мог иметь дела, а между тем личность, подписавшая чек, очень известна, даже знаменита, и, что еще хуже, принадлежит к числу людей, делающих добро. Предполагаю интригу, честный человек платит за какой-нибудь грех своей юности. Поэтому я называю этот глухой дом с дверью — домом интриг. Впрочем, даже это предположение не объясняет всего, — прибавил Энфилд и задумался.

Внезапный вопрос Аттерсона вывел его из раздумья. Нотариус спросил:

— А вы знаете, живет ли здесь человек, принесший чек?

— Здесь? Нет, — возразил мистер Энфилд. — Но мне случилось узнать его адрес.

— И вы никогда не расспрашивали об этом доме с дверью? — спросил Аттерсон.

— Нет, сэръ, я деликатен; я остерегаюсь расспросов; расспросы слишком напоминают судебное разбирательство. Заданный вопрос — то же самое, что брошенный с горы камень. Вы спокойно сидите на вершине холма; камень катится вниз, сшибает другие камни; и вот какая-нибудь кроткая старая птица (о которой вы и не думали) убита в своем собственном саду, и ее семье приходится менять имя. Нет, сэръ, вот какое у меня правило: чем страннее обстоятельства дела, тем меньше я спрашиваю.

— Очень хорошее правило, — заметил нотариус.

— Но я сам осматривал здание, — продолжал Энфилд. — Едва ли это жилой дом; в нем нет второй двери, и я не замечал, чтобы кто-нибудь входил в него, кроме моего незнакомца, да и он является не часто. В верхнем этаже три окна во двор, внизу ни одного; окна всегда заперты, но чисты. Затем, одна труба почти постоянно дымится, так что, вероятно, там кто-нибудь живет. Но я в этом не уверен, потому что все строения на этом дворе так скученны, что трудно сказать, где кончается одно и начинается другое.

Некоторое время друзья шли молча, наконец, Аттерсон сказал:

— Энфилд, ваше правило очень хорошо.

— Мне кажется, да, — ответил Энфилд.

— Тем не менее, — продолжал нотариус, — мне нужно задать вам один вопрос: я хотел бы знать имя господина, который наступил на ребенка.

— Что же, — сказал Энфилд, — я не вижу, чтобы это могло принести кому-нибудь вред. Его зовут мистер Хайд.

— Гм... — произнес Аттерсон. — А каков он на вид?

— Его нелегко описать. В наружности Хайда есть что-то нехорошее, что-то неприятное, что-то прямо отталкивающее. Я никогда на свете не видывал человека, который был бы мне противен до такой степени, но я с трудом могу сказать, почему именно. Вероятно, в Хайде есть какое-нибудь уродство; он производит впечатление уродца, но определить, в чем заключается его безобразие, не могу. У него очень странная наружность, но я не в си-



*Он вынул из кармана ключ, открыл им дверь,
вошел в здание... (к стр. 9)*

лах указать на ее особенности. Нет, сэр, невозможно, я не могу описать его. И это не вследствие недостатка памяти, потому что я так и вижу мистера Хайда!

Мистер Аттерсон опять замолчал и некоторое время шел в глубоком раздумье.

— Вы уверены, что он открыл дверь ключом? — наконец спросил нотариус.

— Мой дорогой сэр... — начал Энфилд вне себя от изумления.

— Да, я знаю, — сказал Аттерсон, — я знаю, мой вопрос должен казаться вам странным. Дело в том, что я не спрашиваю у вас другого имени, потому что уже знаю его. Вы видите, Ричард, ваша история сделала круг... Если вы были не педантично точны хоть в чем-нибудь, вам следует исправить эту неточность.

— Я думаю, вы могли бы предупредить меня, — сказал Энфилд с тенью обиды в голосе, — но я был педантично точен, выражаясь вашими словами. У этого человека был ключ, больше — этот ключ у него и до сих пор. Я видел, как неделю тому назад он открыл ключом таинственную дверь.

Аттерсон тяжело вздохнул, но не вымолвил ни слова. Молодой человек произнес следующее заключение:

— Вот новое подтверждение правила ничего не говорить. Мне стыдно за свой длинный язык. Согласимся никогда более не возвращаться к этому предмету.

— Согласен от всего сердца, — сказал нотариус, — вот вам моя рука, Ричард.

ГЛАВА II

Поиски мистера Хайда

В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям, после обеда, нотариус садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов; тогда он скромно ложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Аттерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись: «Завещание доктора Джекила». С нахмуренным лицом нотариус принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилом, потому что хотя Аттерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекила, доктора медицины, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, все его имущество должно перейти в руки его «друга и благодетеля, мистера Хайда»; кроме того, там упоминалось, что в случае «исчезновения доктора Джекила или его необъяснимого отсутствия в течение трех календарных месяцев», названный Эдуард Хайд должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекила без малейшего промедления; что Эдуард Хайд не повинен платить по каким

бы то ни было обязательствам доктора Джекила и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Аттерсона. Он оскорблял его как нотариуса и как приверженца здоровой, правильной жизни, для которого все фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличивалось оттого, что он не знал мистера Хайда, теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для нотариуса один пустой звук, стало еще хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определенное предчувствие, которое говорило, что этот Хайд — существо адски злобное, враждебное.

— Я считал это завещание безумием, — сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф, — а теперь начинаю бояться, что оно позор.

Аттерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины — Кавендиш-Скверу. Там жил его друг, великий доктор Ленайон, принимавший в своем доме многочисленных пациентов.

«Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Ленайон», — подумал нотариус.

Важный дворецкий доктора знал Аттерсона, принял его приветливо и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Ленайон сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой, краснолицый



господин с гривой преждевременно поседевших волос, с шумными, решительными манерами. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности, однако доктором руководило искреннее чувство, так как Ленайон и Аттерсон были старыми друзьями по школе и колледжу. Они уважали себя и друг друга и, что не всегда является следствием этого, очень любили бывать вместе.

После разговора о незначительных вещах нотариус перешел к теме, которая так занимала и тревожила его.

— Мне кажется, Ленайон, — сказал он, — ты и я самые старые друзья Генри Джекила.

— Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе, — со смехом заметил Ленайон, — но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним.

— Да?.. — сказал Аттерсон. — А я думал, что у вас много общих дел.

— Было, — послышался ответ. — Но вот уже более десяти лет Генри Джекил стал слишком причудлив для меня. Он пошел по дурной дороге, то есть умственно, и хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекилом во имя прошлого, но очень редко вижу с ним, чертовски редко. Ненаучное фантазерство, — прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем, — право, разлучило бы Дамона и Пифиаса¹.

Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Аттерсона. «Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов, — подумал он и, будучи человеком, лишенным всяких научных страстей (нотариус питал только пристрастие к определенности, точности документов), даже прибавил: — Уж это хуже всего!». Аттерсон дал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и затем задал вопрос, из-за которого пришел к доктору:

¹ Имена двух знаменитых верных друзей, живших в Сиракузах. Когда Пифиас был осужден тираном Дионисием на смерть, то Дамон хотел сам умереть вместо друга, и на месте казни они оспаривали друг у друга право на смерть. Дионисий так был тронут этой дружбой, что простил осужденного и позволил быть принятым третьим в общество этих двух друзей.

— Встречал ли ты когда-нибудь его protégé, Хайда?

— Хайда? — повторил Ленайон. — Нет. Я никогда не слышал о нем.

Вот какой запас сведений принес нотариус с собой в большую, мрачную постель, на которой он ворочался до тех пор, пока брезжащий свет не стал яснее. Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы и осажденному множеством вопросов.

На церкви, которая так кстати стояла близ квартиры Аттерсона, пробило шесть часов, а нотариус все еще ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено или, вернее, поработано и его воображение. Он беспокойно ворочался среди ночной тьмы, наполнявшей комнату с завешенными окнами; в его уме прошел весь рассказ Энфилда в веренице ясных картин. Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице; он увидел, как по другой, встречной улице бежал ребенок от доктора. Они столкнулись, и чудовище в образе человека сшибло ребенка и пошло дальше, не обращая внимания на стоны малютки. Он увидел спальню в богатом доме; в ней его друг грезил и улыбался своим грезам. Вдруг дверь комнаты растворилась, распахнулся полог кровати, спящий проснулся... О, Боже, перед ним стоял человек, имевший власть даже в этот глухой час заставить его встать и исполнить предъявленное ему требование. Всю ночь нотариусу виделся один и тот же ненавистный образ в том или другом виде. И если он иногда погружался в дремоту, он опять-таки видел, как Хайд крался между спящими домами, как он все скорее и скорее и, наконец, с бешеной быстротой неся по лабиринту освещенного фонарями города и на каждом углу давил малютку и бежал дальше, не обращая внимания на ее стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Аттерсон мог бы узнать его; даже в грезах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над нотариусом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Аттерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему казалось, что взгляни он хоть раз на него, тайна немного рассеется, может быть, совершенно пропадет,

по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию. Он мог бы тогда найти объяснение странной склонности своего друга или причины его рабства (называйте это как угодно) и даже удивительных статей завещания. Наконец, стоит посмотреть на такое лицо, на лицо человека без сострадания, на лицо, которому нужно было только показаться, чтобы вызвать у невпечатлительного Энфилда ненависть.

С этого времени Аттерсон начал часто бывать у двери здания в маленькой торговой улице. Нотариуса можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий, в полдень, когда дело кипело, а времени не доставало, ночью при свете окруженной туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы.

— Если он мистер Хайд, то я — мистер Сик².

Наконец терпение Аттерсона было вознаграждено. Стояла прекрасная, сухая ночь. Морозило; улицы были чисты, как бальный зал; фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определенные тени. Около десяти часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединенна и, несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царило молчание. Легкие звуки ясно раздавались в ее тишине; из домов доносился шум домашней жизни, шаги прохожих слышались еще задолго до появления их фигур. Аттерсон продежурил уже некоторое время на своем посту, когда он, наконец, различил легкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камни выделяется на общем фоне городского гула. Однако еще никогда его внимание не бывало привлечено так сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха он отошел ко входу во двор.

Шаги быстро приближались и внезапно раздались громче. Нотариус выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, одет просто, и вся его наружность даже на этом

² Непереводимая игра слов: To hide — прятаться; to seek — искать.



Нотариус выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело...

расстоянии внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и, приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой.

Аттерсон выступил вперед, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча.

— Мистер Хайд, вероятно?

Хайд отступил; из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел нотариусу в глаза, но ответил довольно спокойно:

— Да, это мое имя. Что вам угодно?

— Я вижу, вы идете в дом, — продолжал нотариус. — Я старый друг доктора Джекила, Аттерсон с улицы Гаунт; вы, вероятно, слышали обо мне и, встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете.

— Вы не застанете доктора Джекила; его нет дома, — возразил Хайд, продувая ключ. Потом внезапно, но не поднимая глаз, он спросил: — Как вы узнали меня?

— Со своей стороны, — сказал Аттерсон, — не сдаете ли вы мне одного одолжения?

— С удовольствием, — произнес Хайд. — В чем же дело?

— Вы позволите мне взглянуть вам в лицо? — попросил нотариус.

Хайд, по-видимому, колебался, потом, точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга.

— Теперь я вас узнаю, — сказал Аттерсон, — это может оказаться полезным.

— Да, — ответил Хайд, — так же, как и наша встреча. А ргоро, вам нужно дать мой адрес, — и он назвал улицу в Сохо и номер дома.

«Боже мой, — подумал Аттерсон, — неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании?» Однако нотариус ничего не сказал и только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес.

— Теперь, — сказал Хайд, — объясните, как вы меня узнали?

— По описанию, — был ответ.

— Кто мог вам описать меня?
— У нас есть общие друзья, — сказал Аттерсон.
— Общие друзья, — повторил Хайд немного хриплым голосом. — Кто?
— Джекил, например, — сказал нотариус.
— Он не говорил вам обо мне! — крикнул Хайд с внезапным приливом гнева. — Я не думал, что вы умеете лгать!
— Ну, — сказал Аттерсон, — так говорить не годится.

Хайд захохотал грубо, дико и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме.

Когда Хайд исчез, нотариус некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он медленно двинулся назад, останавливаясь каждую минуту и поднося руку ко лбу, точно человек в страшной умственной нерешительности. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайд был бледен и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой ненормальности; он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с нотариусом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно в злодее; голос у него был силовый, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но тем не менее не могло служить объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Аттерсон смотрел на него.

— В Хайде должно быть что-то особенное, — сказал себе встревоженный нотариус. — В нем есть что-то,



а что именно, не знаю. Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляется полу-троглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелля? Или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку? Я думаю, последнее верно, потому что, о, мой бедный Генри Джекил, если когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга!

За углом торговой улицы, на площади, стояло несколько старинных красивых домов, в настоящее время по большей части потерявших свое прежнее блестящее положение и населенных людьми всевозможных положений: картографами, архитекторами, мелкими нотариусами и агентами неизвестных предприятий. Однако один дом, второй от угла, был занят целиком, носил на себе отпечаток комфорта и богатства, хоть в настоящую минуту и был погружен во тьму, так как в нем светилось одно полукруглое окошечко. У его-то двери остановился Аттерсон и постучал. Ему отворил старый, хорошо одетый слуга.

— Доктор Джекил дома, Пул? — спросил нотариус.

— Я посмотрю, мистер Аттерсон, — ответил Пул и провел гостя в большую, но сумрачную приемную, вымощенную плитами, отапливаемую по примеру загородных домов ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. — Угодно вам подождать здесь, сэр, у камина, или прикажете осветить столовую?

— Благодарю вас, я подожду здесь, — сказал нотариус и облокотился на высокую каминную решетку.

Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга доктора; сам Аттерсон любил говорить о ней, как об одной из самых привлекательных приемных Лондона. Но сегодня в душе нотариуса был какой-то страх; лицо Хайда угнетало его мозг, он чувствовал (а это случалось с ним редко) тоску и отвращение к жизни. Благодаря мрачному настроению ему казалось, что он читает угрозу в мелькании отвеса камина на полированных шкафах, в беспокойном колебании теней на потолке. Сам стыдясь своей слабости, он все же почувствовал облегчение, когда вернулся Пул и сказал ему, что доктора Джекила нет дома.

— Я видел, что мистер Хайд вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала. Пул, — сказал он. — Позволительно ли это, когда доктора Джекила нет дома?

— Вполне, сэр, — ответил слуга, — у мистера Хайда есть ключ.

— Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку, Пул? — задумчиво заметил нотариус.

— Точно так, сэр, — подтвердил Пул. — Нам всем приказано слушаться его.

— Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда?

— О, нет, сэр, он никогда не обедает у доктора, — возразил дворецкий. — Мы редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию.

— Ну, покойной ночи, Пул.

— Покойной ночи, мистер Аттерсон.

И нотариус пошел домой с большой тревогой в душе. «Бедный Гарри Джекил, — думал он, — я чувствую, что он тонет. В молодости он был неукротим; это было давно, конечно, но в законе Божьем нет границ давности. Да, конечно, это так: Хайд призрак старого греха, едва скрытого позора... Наказание явилось, *pece claudio*³, после того, как память все забыла, а себялюбие нашло извинение проступку!». И нотариус, расстроенный этими мыслями, стал раздумывать о собственном прошлом, заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чертик из табакерки в виде старого греха. Но его прошлое было совершенно безупречно; немногие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершенные им, принижали его, однако, благодаря дальнейшим воспоминаниям, он снова поднимался в своем мнении, благочестиво прославляя свою судьбу: он часто бывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, нотариус почувствовал в себе искру надежды. «Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, — подумал он, — то, конечно, найдешь у него множе-

³ Хромую стопую (*лат.*) т. е. медленно.

ство тайн и, судя по его виду, тайн мрачных; в сравнении с ними худшие заблуждения бедного Джекила покажутся солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадется в спальню Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение! И в какой он опасности! Ведь если только этот Хайд заподозрит существование завещания, в нем может родиться желание поскорее получить наследство. О, да, мне следует взяться за это дело... Конечно, если только Джекил не помешает мне». Он прибавил «если только Джекил не помешает мне», потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи завещания.

ГЛАВА III

Доктор Джекил спокоен

Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекил дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе пять-шесть старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Аттерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Аттерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого, сухого нотариуса после ухода веселых и разговорчивых гостей; затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекил не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, пятидесятилетнего человека с мягким, может быть, немного ленивым лицом, тем не менее носившем отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Аттерсона.

— Мне хотелось поговорить с тобой, Джекил, — начал нотариус. — Ты помнишь твоё завещание?

Наблюдатель мог бы подметить, что доктору не понравилась эта тема, однако он весело отнесся к вопросу.

— Мой бедный Аттерсон, — сказал Джекил, — клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не выдывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание; разве вот еще этот мелочный педант Ленайон приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью. О, я знаю, он очень хоро-

ший малый, тебе незачем хмуриться, превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видеться с ним. Но что правда, то правда, он мелочный педант, невежественный брюзга-педант. Никто не приводил меня в такое негодование, как Ленайон.

— Ты знаешь, я никогда не одобрял его, — продолжал Аттерсон, безжалостно оставив в стороне последнее замечание друга.

— Моего завещания? Да, конечно, знаю, — сказал доктор несколько резким тоном. — Ты говорил мне это.

— Ну, и повторю еще раз, — произнес нотариус. — Я узнал кое-что о молодом Хайде.

Красивое лицо Джекила побледнело так, что даже его губы побелели и под его глазами появились черные тени.

— Я не хочу слышать ничего больше, — сказал он, — я думал, что мы согласились бросить этот разговор.

— То, что мне передали, было отвратительно, — продолжал Аттерсон.

— Это не может изменить дела. Ты не понимаешь моего положения, — заговорил доктор, немного путаясь в словах. — Мое положение очень затруднительно, Аттерсон, и очень странно, очень странно. Разговорами делу не поможешь.

— Джекил, — сказал Аттерсон, — ты меня знаешь, мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе.

— Мой добрый Аттерсон, — сказал доктор, — это очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо, и я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя. Я вполне верю тебе; я охотнее доверился бы тебе, чем кому бы то ни было, даже больше, чем самому себе, но я не могу. Только, право, все это не то, что ты воображаешь, и дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь: я отделаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается. Вот тебе моя рука, что я не лгу. Еще одно замечание, Аттерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно: все это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое.

Аттерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь.



— Ты совершенно прав, — сказал он, наконец, и встал.

— Но так как мы заговорили об этом деле, надеюсь, в последний раз, — продолжал доктор, — мне хочется объяснить тебе один пункт. Я действительно очень интересуюсь бедным Хайдом. Я знаю, ты его видел; он сказал мне это, и я боюсь, что он говорил с тобой грубо. Но я искренне, очень, очень сильно интересуюсь этим молодым человеком. Если меня не станет, Аттерсон, я хотел бы, чтобы ты обещал мне взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если

бы ты знал все. А своим обещанием ты снял бы тяжесть с моей души!

— Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться, — сказал нотариус.

— Я и не прошу этого, — ласково заметил Джекил и положил руку на плечо друга. — Я прошу только справедливости; я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет.

Агтерсон невольно вздохнул.

— Хорошо, — сказал он, — обещаю.

ГЛАВА IV

Убийство Керью

Прошло около года, и в октябре 18... Лондон был поражен необычайно жестоким убийством; высокое общественное положение жертвы делало злодейство еще более значительным. Подробностей было мало, но они возбуждали всеобщий ужас. Одна служанка, жившая недалеко от реки, пришла к себе в комнату около одиннадцати часов вечера. Хотя на рассвете над городом появился туман, но в ранние часы этой ночи небо было безоблачно, и улица, на которую выходило окно девушки, заливал свет полной луны. По-видимому, эта служанка обладала романтически настроенным воображением, потому что она села на сундук под окном и задумалась. Никогда (так говорила она, рассказывая об ужасном происшествии и обливаясь слезами), никогда не чувствовала она в себе такого доброго расположения ко всем людям, никогда не испытывала такого добродушия по отношению к миру. И вот она увидела старого красивого господина с белыми волосами, который подходил к ее дому, а навстречу ему двигался другой человек, очень маленького роста; сперва она обратила на него мало внимания. Когда они поравнялись (что произошло как раз под окном девушки), старик поклонился и подошел к встречному с очень вежливым и любезным видом. Вероятно, он спросил его о чем-то маловажном; по движению руки старика казалось, что он только расспрашивал о дороге. При свете луны девушка смотрела на него. Черты старика дышали невинной старозаветной добро-

той, но вместе с тем на них лежал отпечаток заслуженного довольства собой. Потом взгляд служанки перешел на его собеседника, и она с удивлением узнала в нем мистера Хайда, как-то раз навестившего ее господина... Еще тогда он очень не понравился ей. Хайд держал в руке тяжелую трость и помахивал ею; он ничего не отвечал старику, и, по-видимому, слушал его с плохо скрытым раздражением. Вдруг он пришел в ярость, топнул ногой, поднял палку, вообще (по словам девушки) точно обезумел. Старик отступил от него; казалось, он был изумлен и обижен; в эту минуту Хайд совершенно потерял голову и свалил несчастного на землю. Через мгновение он со злобой аспиды стал топтать ногами свою жертву и осыпать ее градом ударов, от которых слышался треск костей, а беспомощное тело подпрыгивало на мостовой. Слыша и видя эти ужасы, девушка лишилась чувств.

Около двух часов утра она очнулась и позвала полицию. Убийца давно ушел, но на улице лежало невообразимо обезображенное тело жертвы. Палка Хайда из очень плотного, дорогого и тяжелого дерева сломалась пополам. Одна половина откатилась в соседний водосток, другая, без сомнения, осталась в руках безумного злодея. На жертве были найдены золотые часы и кошелек, но ни карточек, ни бумаг, кроме запечатанного конверта, который он, вероятно, нес на почту. На конверте стояло имя и адрес мистера Аттерсона.

Этот конверт подали на следующее же утро нотариусу, когда тот еще лежал в постели. Едва посмотрел он на него и выслушал рассказ об убийстве старика, как произнес торжественно:

— Я ничего не скажу, пока не увижу тела. Дело, может быть, очень серьезно. Будьте так добры, подождите, пока я оденусь.

По-прежнему торжественно Аттерсон наскоро позавтракал и отправился в то полицейское отделение, в которое отнесли труп убитого. Едва Аттерсон вошел в камеру, как подтвердил:

— Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денверс Керью.

— Боже ты мой, сэр! — вскрикнул полицейский. — Возможно ли это! — Но в следующую же минуту его гла-

за вспыхнули профессиональным честолюбием. — Это наделает шуму, — сказал он. — А может быть, вы можете нам отыскать убийцу? — И он рассказал вкратце все, что видела девушка, и показал обломок палки.

При первом же звуке имени Хайда Аттерсон вздрогнул, когда же ему показали палку, он окончательно перестал сомневаться: в этом сломанном, расщепленном и измочаленном обломке он узнал кусок трости, когда-то, много лет тому назад, подаренной им Генри Джекилу.

— Этот мистер Хайд мал ростом? — спросил нотариус.

— Необычайно мал и противен, как говорит служанка, — ответил полицейский.

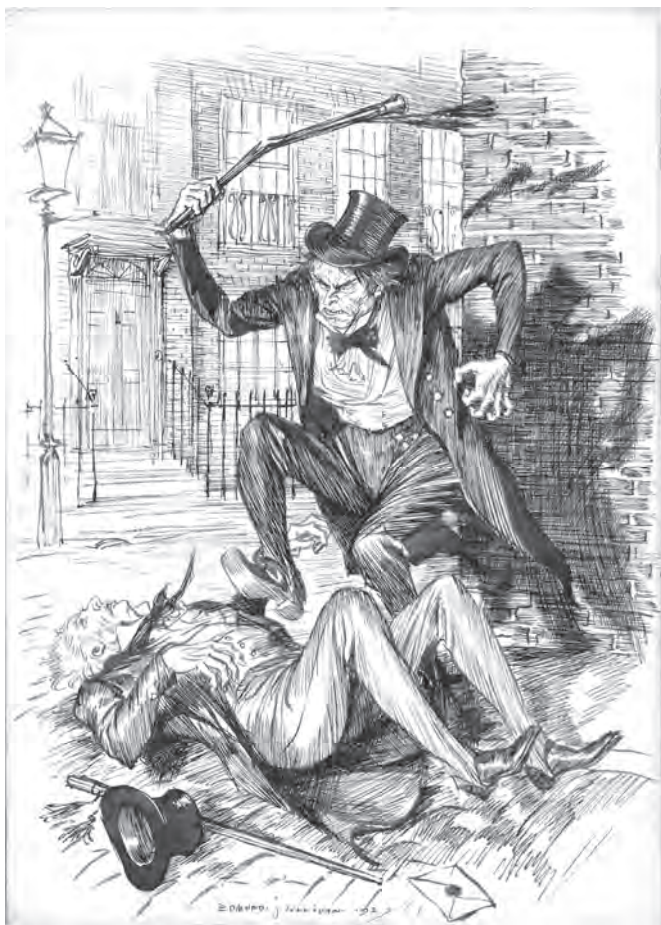
Аттерсон подумал несколько минут и, наконец, сказал, подняв голову:

— Если вам угодно сесть со мной в кэб, я отвезу вас в квартиру Хайда.

Было около девяти часов утра; над городом появился первый осенний туман. Большая завеса шоколадного цвета расстилалась под небесами, но ветер трепал и рвал этот густой туман.

Таким образом, пока кэб переезжал из улицы в улицу, Аттерсон мог любоваться градациями полусвета: здесь сумрак был густ, как ночью, там он принимал бледно-коричневый оттенок, точно освещенный лучами какого-то странного пожара. На минуту туман совсем рассеялся, и тусклый дневной свет проглянул через его мятущиеся клубы. Освещенный таким переменчивым светом, унылый квартал Сохо с его грязными улицами, неопрятными прохожими и фонарями, не потушенными, но и не заправленными вновь для борьбы с печальным возвращением тьмы, казался нотариусу частью какого-то города, явившегося ему в кошмаре. Кроме того, в голове нотариуса толпились самые мрачные мысли, и когда он смотрел на своего спутника, то чувствовал в душе тот ужас перед законом и исполнителями его, который по временам охватывает самых честных людей.

Когда кэб приблизился к цели путешествия, туман немного рассеялся и Аттерсон увидел маленькую грязную улицу, кабак, плохую французскую закусочную, мелочную лавку, много оборванных ребятишек у порогов



*Через мгновение он со злобой аспида стал топтать ногами
свою жертву и осыпать ее градом ударов... (к стр. 29)*

дверей и женщин различных национальностей, шедших с ключами в руках выпить утреннюю рюмочку. Скоро на эту часть города снова спустился туман, коричневый, как умбра, и скрыл от Аттерсона все мрачные подробности картины. Кэб приехал к жилищу странного протезе Генри Джекила, к квартире наследника четверти миллиона стерлингов.

Дверь отворила старуха с лицом желтоватым, как слоновая кость, и с серебристыми волосами. У нее было злое лицо, смягченное лицемерием, зато держалась она прекрасно. — Да, здесь живет мистер Хайд, только его нет дома; он вернулся поздно ночью и меньше чем через час ушел опять. — Это ее не поразило; мистер Хайд вообще вел очень неправильную жизнь и часто отлучался из дому, например, до вчерашнего дня она его не видела целых два месяца.



— Прекрасно, тогда покажите нам его комнаты, — сказал нотариус, и когда старуха принялась уверять, что это невозможно, он прибавил: — Ну, я вижу, что будет лучше сказать вам, кто этот господин. Он инспектор Ньюкомен из Скотланд-Ярда.

Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью.

— А, — сказала она, — ему приходится плохо! Что же он сделал?

Аттерсон и полицейский переглянулись.

— По-видимому, Хайд не особенно популярен, —

заметил Ньюкомен. — Теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет.

Во всей квартире не было ни души, кроме старухи. Хайд занимал немного комнат, но они были убраны очень роскошно и с большим вкусом. В кладовой хранилось много вина; блюда были из серебра, столовое белье очень элегантно; на стене висели хорошие картины, как предположил Аттерсон, полученные от Генри Джекила, который считался знатоком живописи. На полу лежали большие ковры прекрасного рисунка. Однако в данную минуту комнаты были в сильном беспорядке. Очевидно, в них кто-то рылся наскоро; на полу валялось платье с вывернутыми наружу карманами; комоды стояли с не задвинутыми ящиками, а в камине лежала пригоршня серой золы, точно в нем было сожжено множество бумаг. Инспектор достал из пепла корешок зеленой чековой книжки, пощаженный огнем; за дверью нашлась вторая часть трости, и так как это подтвердило подозрение полицейского, он пришел в полный восторг. Посещение банка, в котором на имя убийцы лежало несколько тысяч фунтов, окончательно развеселило его.

— Будьте спокойны, сэр, — сказал он Аттерсону, — я держу его в руках. Вероятно, он обезумел, потому что иначе, конечно, не бросил бы так палку, главное же, не сжег бы чековой книжки. Ведь деньги для него жизнь. Нам следует только подождать его в банке и составить описание его наружности для опубликования.

Однако последнее оказалось делом нелегким, потому что Хайда знали немногие; даже господин служанки, рассказавшей об убийстве, видел его всего два раза. Напасть на следы Хайда было невозможно. Он никогда не фотографировался; немногие же, видевшие его, сильно расходились в своих описаниях, как это обыкновенно случается с очевидцами. Только в одном отношении все были единодушны: все говорили, что в его наружности проглядывало что-то уродливое, несообразное, но в чем именно крылось это уродство, никто не мог определить.

ГЛАВА V

Случай с письмом

Далеко за полдень Аттерсон пришел в дом доктора Джекила; Пул сразу принял его и провел через кухню, через двор, некогда бывший садом, к строению, которое называлось то лабораторией, то анатомическим театром. Доктор купил дом у наследников одного знаменитого хирурга, но так как наклонности Джекила более влекли его к занятиям химией, нежели анатомией, он изменил назначение неуклюжего строения. Джекил в первый раз принимал нотариуса в этой части своего дома, и Аттерсон с любопытством смотрел на угрюмое здание. Когда Аттерсон проходил через анатомический театр, в котором некогда толпились прилежные студенты, а теперь пустой и молчаливый, он испытал неприятное, странное чувство; кругом виднелись столы, заставленные химическими приборами, пол был засыпан опилками и соломой; через запыленный купол слабо струился свет. В конце комнаты находилась лестница, которая вела к двери, обитой красным фризом. Слуга отворил перед Аттерсоном эту дверь и впустил его в кабинет доктора — большую комнату, заставленную стеклянными шкафчиками. Кроме шкафов, в ней, между прочим, было большое зеркало на ножках и письменный стол. Три пыльные окна кабинета, огражденные решетками, выходили во двор. В камине горел огонь. На каминной доске стояла зажженная лампа, так как туман начал проникать и в дом. Доктор Джекил, по-видимому, смертельно уста-

лый, сидел у самого огня. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему холодную руку и поздоровался с ним сильно изменившимся голосом.

— Ну, — сказал Аттерсон, едва Пул ушел, — ты знаешь?

Доктор вздрогнул.

— Об этом кричат на улице! Я слышал из столовой голоса толпы.

— Одно слово, — сказал нотариус. — Керью был моим клиентом, но ты также мой клиент, и я хочу знать, что мне делать? Надеюсь, ты не был безумен и не спрятал этого человека?

— Аттерсон, — воскликнул доктор, — клянусь Богом, что я никогда больше даже не взгляну на него! Честью ручаюсь тебе, что я покончил с ним на этом свете. Всему конец! И, право, ему не нужна моя помощь; ты не знаешь его достаточно хорошо; он в безопасности; помни мои слова: никто не увидит его более.

Нотариус угрюмо слушал. Лихорадочная речь Джекила ему не нравилась.

— Ты говоришь очень уверенно, — заметил Аттерсон, — и надеюсь, ради тебя, что ты не ошибаешься, ведь если начнется следствие, могут упомянуть твое имя.

— Я вполне спокоен за него, — ответил Джекил, — я имею основания быть спокойным, но не могу сообщить их кому бы то ни было. Однако я хочу попросить у тебя одного совета... Я... я... получил письмо и не знаю, следует ли мне представить его в полицию. Мне хотелось бы передать это тебе, Аттерсон, я уверен, что ты решишь умно, я так доверяю тебе.

— Мне кажется, ты боишься, что это письмо поможет его арестовать? — спросил нотариус.

— Нет, — сказал Джекил, — я не могу сказать, чтобы судьба Хайда заботила меня. Я покончил с ним. Я думал о моей собственной репутации; это проклятое дело подвигает ее большой опасности.

Аттерсон помолчал в раздумье; его поразило себялюбие друга, но вместе с тем слова Джекила и успокоили его.

— Хорошо, — наконец, заметил он, — покажи мне письмо.

Письмо было написано странным, с наклоном в левую сторону, почерком. В довольно кратких выражениях Хайд просил своего благодетеля Джекила, которому он так недостойно платил за его великодушие, не подвергать себя опасности, стараясь его спасти, так как сам он, Хайд, имеет возможность скрыться. Это письмо понравилось нотариусу, оно проливало лучший свет на отношение его друга к Хайду, нежели он ожидал, и Аттерсон осудил себя за свои прежние подозрения.

— У тебя есть и конверт? — спросил он.

— Я сжег его, — ответил Джекил, — раньше чем узнал, в чем дело. Но на конверте не было почтового штемпеля, письмо принесли лично.

— Следует ли мне держать его пока у себя, не предавая огласке? — спросил Аттерсон.

— Я хочу, чтобы ты думал за меня, — последовал ответ. — Я потерял веру в себя.

— Хорошо, я подумаю, — заметил нотариус. — Теперь еще один вопрос; не правда ли, Хайд подсказал тебе выражения твоего завещания в том месте, где говорится о твоем исчезновении?

Доктор был близок к обмороку. Он сжал губы и утвердительно кивнул головой.

— Я так и знал, — сказал Аттерсон. — Он намеревается тебя убить. Ты еще счастливо отделался.

— И кроме того, — заметил доктор торжественным тоном, — я получил хороший урок... О, Боже, Аттерсон, какой я получил урок! — И он на мгновение закрыл лицо руками.

Уходя, нотариус остановился потолковать с Пулом.

— Кстати, — сказал он, — сегодня вашему господину передали письмо; скажите, кто принес его?

Но Пул ответил, что пришла только почта, да и она доставила одни циркуляры.

Это известие оживило все опасения в уме Аттерсона. Ясно было, что письмо подали через дверь с глухой улицы, может быть также, его написали в кабинете?.. В таком случае к нему следовало отнести гораздо острее. Продавцы газет расхаживали по тротуарам и сипло кричали: «Экстренное сообщение! Ужасное убийство члена парламента!» Такова была надгробная речь над одним

из друзей и клиентов Аттерсона, и нотариус невольно боялся, чтобы добрая слава другого не погибла в потоке скандала. Аттерсону предстояло принять щекотливое решение, и хотя вообще он любил полагаться только на себя, но в эту минуту жаждал доброго совета. Прямо обратиться к кому-нибудь ему казалось немислимым, но он надеялся, что ему удастся окольным путем выманить несколько толковых замечаний.

Вскоре Аттерсон уже сидел по одну сторону своего камина, а мистер Гест, его клерк, по другую; между ними на надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка изпод старого вина, долго скрывавшаяся в подвале дома. Туман все еще плавал над потемневшим городом, фонари мерцали, как карбункулы; под пеленой опустившихся облаков вдоль больших артерий города по-прежнему катилась жизнь и гудела, точно сильный ветер. Комната же, освещенная пламенем камина, дышала приветливостью. В бутылке давным-давно исчезли остатки вина; красный отблеск горячего осеннего вечера, лежавший на склонах холмов, готов был прорваться через мглу и рассеять лондонский туман. Нотариус растаял, сам не заметив того. Ни от кого на свете у него не было меньше тайн, нежели от Геста; нередко, намереваясь скрыть что-нибудь от своего клерка, Аттерсон не мог сдержать этого намерения. Гест часто бывал по делу у доктора Джекила и вряд ли не слыхивал о близости Хайда к доктору. Он мог сделать из этого выводы. Не лучше ли было показать ему письмо и тем рассеять таинственность? Вдобавок Гест был отличным знатоком почерков, а, следовательно, нашел бы естественным и вполне понятным, что ему показывают записку злодея; главное же, прочитав странный документ, клерк, человек очень неглупый, прочтя, наверное, сделал бы какое-либо замечание, а на этом замечании Аттерсон мог бы основать свои дальнейшие поступки. И вот нотариус произнес:

— Грустная эта история с сэром Денверсом.

— Да, сэр, действительно, преступление взволновало все общество, — ответил Гест. — Этот человек, верно, сумасшедший.

— Мне хотелось бы слышать ваше мнение о его почерке, — продолжал Аттерсон. — У меня есть его запи-

ска, но пусть это останется между нами, потому что я не знаю еще, что мне с ней делать. Во всяком случае, все это неприятная история! Вот она; вы любите подобные вещи: автограф убийцы.

Глаза Геста загорелись, он со страстным любопытством вглядывался в записку.

— Нет, сэр, — сказал он, — это писал не сумасшедший, но почерк странный.

— Еще страннее тот, кто писал записку, — прибавил нотариус.

Как раз в эту минуту вошел слуга с конвертом в руках.

— От доктора Джекила, сэр? — спросил клерк. — Мне показалось, что это его почерк. Что-нибудь секретное, мистер Аттерсон?

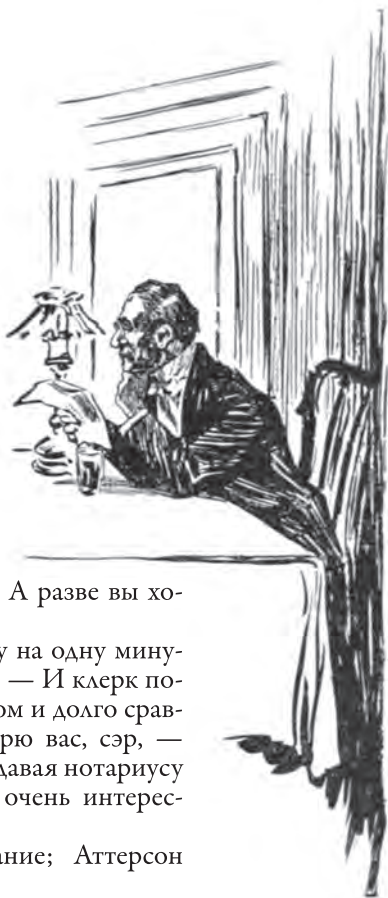
— Нет, только приглашение на обед. А разве вы хотите посмотреть?

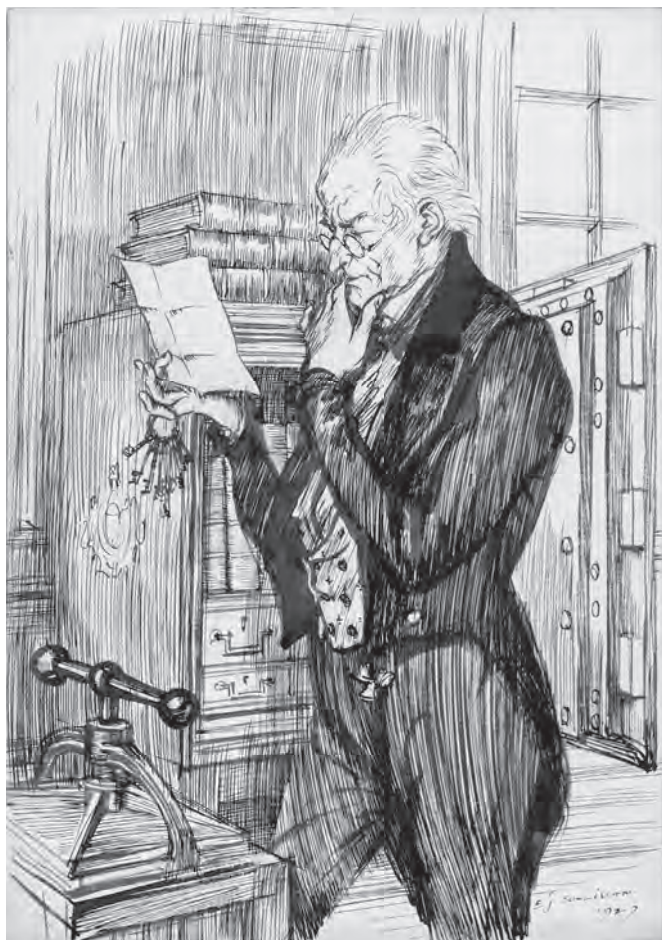
— Прошу записку на одну минуту. Благодарю вас, сэр. — И клерк положил два листка рядом и долго сравнивал их. — Благодарю вас, сэр, — сказал он, наконец, отдавая нотариусу обе записки. — Это очень интересный автограф.

Наступило молчание; Аттерсон боролся с собой.

— Почему вы их сравнивали, Гест? — внезапно спросил он.

— Видите ли, сэр, — ответил клерк, — между почерками странное сходство; во многих отношениях





«Как, — подумал он, — Генри Джекил подделывает письма для убийцы!» (к стр. 40)

они совершенно тождественны. Различие только в наклоне.

— Очень странно, — заметил Аттерсон.

— Да, правда, очень странно.

— Знаете, лучше не говорить об этой записке, — сказал нотариус.

— Понимаю, — ответил клерк.

Едва Аттерсон остался один, как спрятал записку в несгораемый шкаф, в котором она и осталась.

«Как, — подумал он, — Генри Джекил подделывает письма для убийцы!»

И кровь застыла у него в жилах.

ГЛАВА VI

Замечательное происшествие с доктором Ленайоном

Время шло. В награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть сэра Денверса смотрели, как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду, он исчез, точно никогда и не существовал. Открылись многие факты из его прошлого, и все не говорившие в его пользу. Стали ходить слухи о жестокости этого бесчувственного и вспыльчивого человека, о его низкой жизни, странных знакомых, о ненависти, которую он возбуждал к себе, но где он находился теперь, никто не упомянул ни одним словом. С того дня, когда Хайд ушел из своего дома в Сохо, он положительно пропал, и Аттерсон стал успокаиваться. По его мнению, смерть Денверса с избытком вознаграждалась исчезновением Хайда. С тех пор, как доктор Джекил освободился от дурного влияния, для него началась новая жизнь. Он вышел из добровольного заключения, стал видеться с друзьями, часто бывать у них и принимать их у себя. Он уже давно был известен своей благотворительностью, теперь же начал выказывать усердную набожность. Он много занимался, постоянно бывал на воздухе, помогал бедным. Его лицо сделалось открытым и просветленным, точно под влиянием внутреннего сознания собственных заслуг. Более двух месяцев доктор прожил спокойно.

Восьмого января Аттерсон обедал у Джекила вместе с немногими друзьями, в числе которых был и Ле-

найон. Хозяин дома посматривал то на нотариуса, то на доктора, как в былые дни, когда три друга не разлучались. Двенадцатого и четырнадцатого нотариус заходил к Джекилу, но оба раза его не приняли. Пул говорил: «Доктор не выходит никуда и никого не может видеть». Пятнадцатого Аттерсон сделал ту же попытку, и опять безуспешно. За эти два месяца он привык почти ежедневно видеться с другом, и возвращение Джекила к затворнической жизни сильно огорчило его. В пятый вечер он пригласил к себе обедать Геста, на шестой отправился к Ленайону.

Тут, по крайней мере, его приняли, но когда он вошел в комнату, перемена в наружности доктора страшно поразила его. На лице Ленайона читался смертный приговор. Его розовая, свежая кожа страшно побледнела, он похудел, полысел, постарел. Однако эти признаки быстрого физического упадка меньше привлекли внимание нотариуса, нежели выражение его взгляда и манеры, в которых сквозил тайный ужас. Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти, между тем Аттерсон склонялся именно к этому предположению. «Да, — думал он, — он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены, и не в состоянии выносить мысли о конце». Однако когда Аттерсон сказал Ленайону о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил, что он человек, приговоренный к смерти.

— Я перенес ужасное потрясение, — сказал он, — и никогда не поправлюсь. Моя смерть — вопрос нескольких недель. Что же, моя жизнь была приятна, она нравилась мне, да, нравилась. Иногда я думаю, что если бы мы знали все, мы умирали бы охотнее.

— Джекил тоже болен, — заметил Аттерсон. — Ты видел его?

Лицо Ленайона внезапно изменилось, и он протянул другу дрожащую руку.

— Я не желаю ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем, — сказал он громким, трепетным голосом. — Я порвал всякую связь с этим человеком и прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мертвым.

— Эге!.. — произнес Аттерсон, и после продолжительного молчания заметил: — мы трое — старые друзья,

Ленайон, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Ничем, — возразил Ленайон, — спроси у него сам.

— Он меня не принимает, — сказал нотариус.

— Не удивляюсь, — был ответ. — Когда-нибудь после моей смерти ты узнаешь все, я же говорить не могу. Между тем, если ты в состоянии посидеть со мной и потолковать о чем-нибудь другом, Бога ради, останься у



меня, если же ты не можешь отделаться от этой проклятой темы, пожалуйста, уходи, она для меня невыносима.

Придя домой, Аттерсон сел к столу и написал Джекилу письмо. Он жаловался в нем на то, что его не принимают в доме друга, и просил доктора разъяснить причину его прискорбного разрыва с Ленайоном. На следующий день Аттерсон получил от Джекила длинный ответ, местами написанный в очень трогательных выражениях, местами таинственный и туманный. По словам Джекила, разрыв с Ленайоном был непоправим.

«Я не порицаю нашего старого друга, — писал Джекил, — но разделяю его мнение, что нам с ним лучше не видеться. Вообще я намереваюсь вести очень уединенную жизнь. Не удивляйся и не сомневайся в моей дружбе к тебе при виде того, что моя дверь будет часто закрыта даже для тебя. Предоставь мне идти моим мрачным путем. Я навлек на себя наказание и опасность, но какие, не могу сказать. Если я великий грешник, то и великий страдалец. Я даже не воображал, что на земле может быть столько ужасов, столько отнимающих всякое мужество страданий! Ты в силах сделать для меня только одну вещь, Аттерсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно: уважай мою тайну».

Аттерсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло; доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям и еще неделю тому назад существование, казалось, сулило ему счастье и почести; теперь же дружба, душевный мир, все, чем жизнь красна, внезапно рушилось для него. Такая большая и ничем не подготовленная перемена походила на сумасшествие, но, основываясь на словах и манерах Ленайона, Аттерсон решил, что тайна была глубже.

Через неделю Ленайон слег в постель, а менее чем через две недели умер. Аттерсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга; вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Ленайона.

*«В собственные руки Г. Д. Аттерсона,
в случае же, если он умрет раньше,
прошу уничтожить конверт, не читая».*

стояло на пакете, и нотариус боялся распечатать его. Он думал: «Сегодня я похоронил одного друга. Что, если ценой этого будет другой?» Наконец он победил страх, как недостойное чувство, и сломал печать. В конверте был другой пакет, тоже запечатанный и с надписью:

«Не открывать до смерти или исчезновения Генри Джекила».

Аттерсон не поверил своим глазам. Точно так же, как в безумном завещании, которое он уже давно отдал его автору, здесь опять в связи с именем Генри Джекила говорилось об исчезновении! Но в завещании эту идею подсказало мрачное влияние негодяя Хайда; здесь же о ней говорилось слишком определенным, ясным, ужасным образом. Что хотел сказать этим Ленайон? В уме душеприказчика покойного родилось невыносимое любопытство; ему захотелось, не обращая внимания на запрет, исчерпать все эти тайны до дна, но профессиональная честность и верность покойному другу оказались сильнее любопытства, и конверт был спрятан в дальний угол несоряемого шкафа.

Но одно дело не поддаваться любопытству, а другое победить его; можно сомневаться, чтобы с этого дня Аттерсон с прежним жаром жаждал общества своего оставшегося в живых друга. Он с любовью думал о нем, но его мысли были тревожны и полны опасений. Правда, Аттерсон несколько раз заходил к Джекилу, но всегда чувствовал почти облегчение, когда его не принимали; может быть, ему бывало легче говорить с Пулом, стоя у порога, среди живых звуков, нежели входить в дом добровольного рабства и разговаривать с непонятым, добровольным узником. Пул не мог сообщить нотариусу никаких приятных вестей.

Доктор еще чаще прежнего запирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нем. Он был не в духе; он стал молчалив, он ничего не читал, и, казалось, таил что-то на уме. Аттерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от Пула, что мало-помалу стал приходить к доктору все реже и реже.

ГЛАВА VII

Встреча у окна

Однажды в воскресенье Аттерсон по обыкновению гулял с Энфилдом, и они случайно зашли в глухую торговую улицу. Против двери оба остановились, чтобы посмотреть на нее.

— Ну, — сказал Энфилд, — наконец-то эта история окончилась. Мы никогда больше не услышим о Хайде.

— Надеюсь, — сказал Аттерсон. — Не помню, говорил ли я вам, что я видел его раз и почувствовал к нему такое же отвращение, какое испытали и вы.

— Да, одно шло об руку с другим, — заметил Энфилд. — Кстати, каким ослом вы, вероятно, сочли меня за то, что я не знал, что таинственная дверь ведет в дом Джекила! А ведь отчасти вы сами виноваты, что я узнал это.

— Итак, вы узнали, куда она ведет, — сказал Аттерсон, — значит, мы можем пройти во двор и заглянуть в окно. Говоря правду, я беспокоюсь о бедном Джекиле, и мне кажется, что если его друг хотя бы только снаружи подойдет к его дому, это принесет ему пользу.

В прохладном воздухе двора чувствовалась некоторая сырость, и над ним раскинулся преждевременный сумрак, хотя в вышине над головой еще сияло светлое небо, залитое лучами заката. Среднее из трех окон было полуотворено, и подле него сидел Джекил. С печальным лицом, с видом грустного узника дышал он свежим воздухом. Аттерсон заметил его и крикнул:



*Исказившееся лицо Джекила пробыло перед ним
только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось...
(к стр. 47)*

— Джекил, ты? Надеюсь, тебе лучше?

— Мне очень плохо, — возразил доктор, — очень плохо. Слава Богу, я недолго протяну.

— Ты слишком много сидишь в комнате, — сказал нотариус. — Тебе следовало бы выходить, возбуждая кровообращение, как делаем мы, я и мистер Энфилд... Позвольте вас познакомить — мой кузен мистер Энфилд, — доктор Джекил... Ну, возьми шляпу и пойдем с нами.

— Ты очень добр, — со вздохом заметил Джекил. — Мне было бы приятно пройтись с вами, но нет, нет, нет... это совершенно невозможно. Я не смею... Однако я так рад видеть тебя, Аттерсон, так рад. Я попросил бы тебя и мистера Энфилда зайти ко мне, да только эта комната не годится для приема гостей.

— Почему бы, — добродушно предложил нотариус, — нам не постоять под окном и не поговорить с тобой?

— Я только что хотел просить об этом, — с улыбкой ответил доктор.

Но едва он произнес последние слова, как улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением такого ужаса и отчаяния, что кровь застыла в жилах Аттерсона и его родственника. Исказившееся лицо Джекила пробыло перед ним только секунду, потому что окно сейчас же захлопнулось, но и один взгляд на несчастного глубоко поразил их. Молча прошли они через двор, и только войдя в соседний переулок, где даже в воскресенье шумела жизнь, мистер Аттерсон, наконец, взглянул на своего спутника. Они оба были бледны; в глазах того и другого светился одинаковый страх.

— Боже, помилуй нас, Боже, помилуй нас!.. — пробормотал Аттерсон.

Энфилд только задумчиво и серьезно кивнул головой и молчаливо пошел дальше.



*...улыбка исчезла с его лица и заменилась выражением
такого ужаса и отчаяния, что кровь застыла в жилах
Аттерсона и его родственника...*

ГЛАВА VIII

Последняя ночь

Как-то раз, когда Аттерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пул.

— Что случилось, Пул? — вскрикнул нотариус и, взглянув на слугу, повторил: — что с вами? Не болен ли доктор?

— Мистер Аттерсон, — сказал слуга, — дело плохо.

— Сядьте, и вот вам стакан вина, — проговорил нотариус, — скажите мне спокойно, в чем дело.

— Вы знаете жизнь доктора, сэр, — ответил дворецкий, — и знаете также, как он запирается в своем доме. Ну-с, он опять затворился в кабинете, и это мне очень не нравится, сэр... право, хоть убейте меня, не нравится; мистер Аттерсон, сэр, я боюсь...

— Милейший Пул, — заметил нотариус, — прошу вас, говорите яснее. Чего вы боитесь?

— Целую неделю я боялся, — угрюмо продолжал Пул, не обращая внимания на вопрос Аттерсона, — и больше не могу выносить страха.

Наружность слуги дополняла его слова; его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пул сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Аттерсону, сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола.

— Больше я не могу этого выносить, — повторил слуга.

— Ну, — заметил нотариус, — я вижу, Пул, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу,

что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит.

— Мне кажется, что совершается гнусное дело, — громко произнес Пул.

— Гнусное дело! — вскрикнул нотариус, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. — Какое именно? Что вы хотите сказать?

— Не осмеливаюсь, сэр, — был ответ. — Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами?

Вместо ответа Аттерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого; также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон.

Стоял резкий, холодный августовский вечер, бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить; к лицу прилиwała кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Аттерсону особенно безлюдными: ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем именно в этот вечер нотариус жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными; еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зароди-



лось тяжелое предчувствие несчастья. Когда Пул и нотариус вышли на маленькую площадку, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли; чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пул, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, не смотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Не скорая ходьба разгорячила его; по-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался.

— Ну, сэр, — сказал слуга, — вот мы и пришли, дай Бог, чтобы не оказалось никакой беды.

— Аминь, Пул, — произнес нотариус.

Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил:

— Это вы, Пул?

— Да, — проговорил Пул, — откройте дверь.

Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной: в камине горел огонь, и перед ним собралась вся прислуга Джекила, мужчины и женщины, скупившись, как стадо овец. При виде Аттерсона горничная истерически захныкала, а кухарка, вскрикнув: «Слава Богу, это мистер Аттерсон», бросилась к нему, точно желая его обнять.

— Что это вы все здесь? — сердито заметил нотариус. — Это не дело, это неприлично; ваш хозяин был бы очень недоволен.

— Они все боятся, — заметил Пул.

Наступило мертвое молчание, никто не говорил, только горничная плакала во весь голос.

— Да замолчите же! — крикнул ей Пул с бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались.

Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания.

— Теперь, — продолжал дворецкий, обращаясь к своему помощнику, — дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело. — Затем он попросил Аттерсона пойти с ним и направился к саду. — Сэр, — сказал он, — идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу,

чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите.

Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Аттерсона, что он едва не потерял самообладания, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пул жестом попросил Аттерсона слушать, сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и не вполне уверенной рукой постучал в дверь кабинета.

— Сэр, мистер Аттерсон желает вас видеть, — сказал он и в то же время жестом предложил нотариусу хорошо слушать.

Изнутри послышался жалобный голос, произнесший:

— Скажите ему, что я не могу никого видеть.

— Слушаюсь, сэр, — произнес Пул с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Аттерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. — Сэр, — сказал он, глядя нотариусу прямо в лицо, — был ли это голос моего господина.

— Он очень изменился, — ответил Аттерсон, сильно бледнея, но не опуская глаз.

— Изменился? — переспросил дворецкий. — Мне кажется, что я не мог бы, прослужив двадцать лет в доме доктора, не узнать его голос! Нет, сэр, голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, взывающее к небесам.

— Вы говорите странные вещи, Пул, дикие вещи, — заметил Аттерсон, покусывая палец. — Предположим, вы правы, предположим, что доктор Джекил... ну да... убит, что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же неслепо!

— Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, однако слушайте, — заметил Пул. — Всю эту неделю он... оно... словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь требовало одного лекарства и все не находило того, что

ему было нужно. Иногда он — то есть мой господин — писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки да запертую дверь; кушанья ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел. Ну, сэр, каждый день и даже по два, по три раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарство, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он не чист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем — неизвестно, сэр.

— У вас не сохранилось этих записок? — спросил Аттерсон.

Пул пощупал карман и вынул из него смятую записку. Нотариус нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекил свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок не чист и совершенно неприменим для его цели. В 18... году доктор Джекил купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекила очень велика!» До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах: «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка!».

— Странная записка, — сказал Аттерсон и прибавил довольно резко: — почему у вас в руках незапечатанный листок?

— Приказчик у Мау раздражительный человек, сэр; он бросил в меня бумажку, точно ком грязи, — заметил Пул.

— Это, несомненно, почерк доктора? — спросил нотариус.

— Да, мне показалось, — хмуро ответил слуга и переменявшимся тоном прибавил: — да что говорить о почерке! Я видел его.

— Видели его? — повторил Аттерсон. — Как?

— Вот как, — начал Пул. — Я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбил что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видел его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор, зачем



Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет...

он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом... — Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой.

— Все это очень странно, — заметил Аттерсон, — но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пул, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного; вот причина изменения его голоса, вот причина маски и уединения, вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай Бог, чтобы он не обманулся! Вот мое объяснение; оно грустно, Пул, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса.

— Сэр, — сказал дворецкий, снова смертельно побледнев, — это был не доктор. Мой господин, — тут он оглянулся и продолжал шепотом, — мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика. — Аттерсон пытался возражать. — О, сэр, — воскликнул Пул, — неужели вы думаете, что, прослужив двадцать лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери? Нет, сэр, фигура в маске — не доктор Джекил. Бог знает, что это было, только не доктор Джекил! И я убежден, что здесь совершилось убийство!

— Пул, — заметил нотариус, — раз вы это говорите, я обязан проверить ваши подозрения. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь.

— Ах, вот это хорошо! — воскликнул Пул.

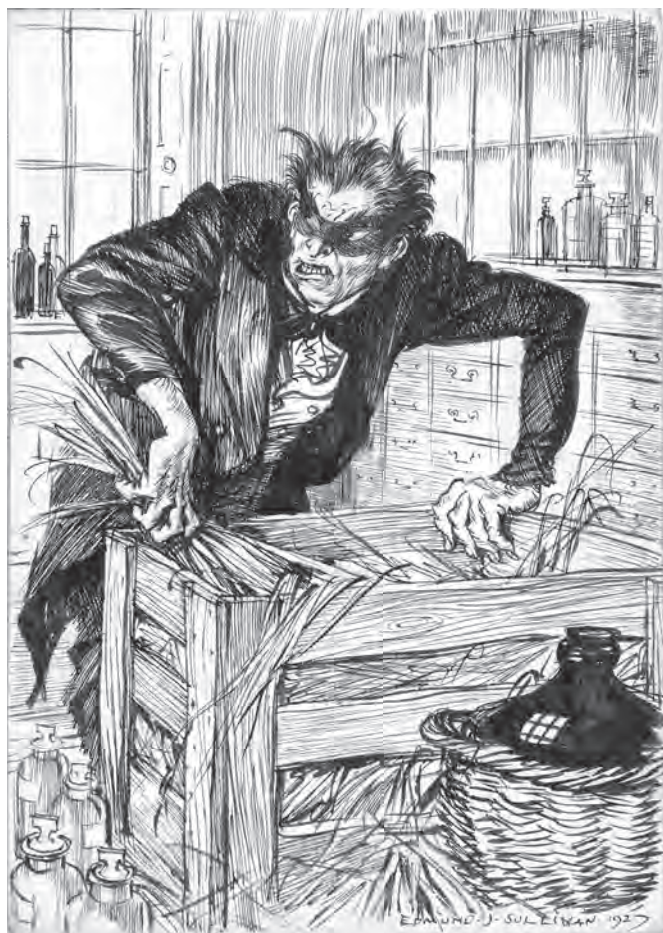
— Теперь второй вопрос, — проговорил нотариус, — кто сделает это?

— Конечно, вы и я, сэр, — последовал бесстрашный ответ.

— Прекрасно сказано, — заметил нотариус, — и что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, правы ли вы.

— В зале есть топор, — продолжал Пул, — а вы можете взять кухонную кочергу.

Нотариус поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им.



*...дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем
конце комнаты... (к стр 55)*

— Знаете ли вы, Пул, — сказал он, — что мы с вами подвергаемся некоторой опасности?

— Действительно, сэр, — заметил дворецкий.

— Ну, значит, нам следует быть откровенными, — сказал Аттерсон, — мы оба думаем больше, чем говорим. Объяснимся же. Вы узнали замаскированного?..

— Ну, сэр, он бежал так скоро и так вертелся, что я не могу поклясться, что узнал его, — был ответ, — но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайд, я скажу вам, что полагаю, что это был он. Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайд, и он побегал его легкой походкой. Потом, кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Керью ключ по-прежнему был у него? Но это еще не все, я не знаю, мистер Аттерсон, видели ли вы когда-нибудь этого Хайда?

— Да, — сказал нотариус, — как-то раз я говорил с ним.

— Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого впечатления, но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая холодная струя.

— Действительно, я сам испытал нечто подобное, — заметил Аттерсон.

— Именно так, сэр, — подтвердил Пул, — так вот, когда этот замаскированный человек бросился в кабинет, как обезьяна, я почувствовал, что по моей спине пробежал ледяной холод. Я знаю, мистер Аттерсон, что это не доказательство, я слишком много читал; но у каждого есть чутье и, клянусь вам Библией, что это был мистер Хайд.

— Да, да, — сказал нотариус, — я боюсь того же... Да, я верю вам, мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца (Бог весть с какой целью) живет в доме своей жертвы. Ну, так будем же мстителями. Позовите Бредшау.

На зов пришел лакей; он был бледен и взволнован.

— Соберитесь с духом, Бредшау, — сказал нотариус. — Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех; но мы хотим теперь положить ему конец. Пул и я ре-

шили силой войти в кабинет. Если все хорошо, я принимаю на себя ответственность за наше вторжение; мои плечи достаточно широки, они вынесут недовольство друга. Если же что-нибудь не в порядке, если какой-нибудь злодей, забравшийся в дом, вздумает спастись через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встаньте у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам десять минут на приготовление.

Когда Бредшау ушел, нотариус взглянул на часы.

— Теперь, — сказал он, — пойдете Пул, — и, взяв кочергу, двинулся к флигелю.

Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи; наконец, они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут, вблизи, тишина прерывалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету.

— И так целый день, сэр, — шепнул Пул, — и даже большую часть ночи! Только когда из склада приносят новый запас соли, шаги прекращаются. О, да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло пролитой крови! Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Аттерсон, и скажите мне, неужели это походка доктора?

Раздавались легкие, странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно; действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекила, от которой, бывало, дрожал пол. Аттерсон вздохнул.

— А больше ничего не слышится? — спросил он.

Пул кивнул головой.

— Раз, — сказал он, — раз там плакали.

— Плакали? Как так? — сказал нотариус, почувствовав смертельный холод ужаса.

— Кто-то плакал в кабинете, плакал как женщина или как погибшая душа, — ответил дворецкий, — и мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал.

Назначенные десять минут подошли к концу. Пул вынул топор из-под груды соломы и поставил свечу на ближайший стол. Пул и Аттерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышались шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучащие в ночной тишине.

— Джекил, — громко крикнул Аттерсон, — мне хочется тебя видеть! — Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. — Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения; я должен тебя увидеть и увижу, если не с твоего согласия, то силой!

— Аттерсон, — ответил голос, — молю пощады во имя Бога!

— А, это голос не Джекила, а Хайда! — вскрикнул нотариус. — Ломайте дверь, Пул!

Пул взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал, доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. Четыре раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после пятого удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета.

Аттерсон и Пул, сами испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лампы; в камине пылал и потрескивал уголь; котелок с водой пел свою однообразную песенку; несколько ящиков стола остались не задвинутыми; на столе лежали аккуратно сложенные бумаги; близ огня виднелись принадлежности для чая; словом, каждый сказал бы, что этот кабинет — самая мирная комната во всем Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная.

Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Аттерсон и Пул подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора; мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный



Ветер, порывами налетающий в этот колодезь между зданиями, колыхал пламя свечи... (к стр. 59)

пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Аттерсону, что перед ним тело самоубийцы.

— Мы пришли слишком поздно, — мрачно заметил нотариус, — не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина.

Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходившей на глухую улицу, кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Аттерсон и Пул внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а по тому количеству пыли, которая сыпалась с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекила, хирурга. Едва Пул и Аттерсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего; перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекила.

Пул топал ногами по плитам коридора.

— Вероятно, он похоронен здесь, — сказал, наконец, слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов.

— Может быть, он бежал, — заметил Аттерсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. — Вряд ли дверь отпиралась этим ключом, — заметил нотариус.

— Этим ключом? — повторил Пул. — Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами.

— Да, — продолжал Аттерсон, — и в изломах тоже ржавчина.

Оба пугливо переглянулись.

— Я ничего не понимаю, Пул, — заметил нотариус, — пойдёмте назад в кабинет.



Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало... (к стр. 60)

Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы, аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшие на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить.

— Вот эти порошки я приносил ему, — сказал Пул. В эту минуту вода, кипевшая в котле, с шумом перелилась через край.

Они подошли к камину; удобное кресло стояло близ огня; чайные принадлежности были готовы, даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг, одна, раскрытая, лежала рядом с чайным прибором, и Аттерсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекил так почитал: все поля томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой!

Наконец, Аттерсон и Пул, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше, пламя, сверкавшее тысячью искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные, испуганные лица Пула и Аттерсона.

— Это зеркало видело странные вещи, сэръ, — шепнул Пул.

— Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь, — тем же тоном ответил нотариус. — Что делал с ним Дж... — он прервал сам, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил: — Зачем оно было нужно Джекилу?

— Да, странно, — подтвердил Пул.

Они подошли к рабочему столу доктора. Там между множеством бумаг лежал большой конверт, надписанный рукой Джекила и адресованный на имя Аттерсона. Нотариус распечатал пакет, из него выпало несколько бумаг. Первая оказалась завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Аттерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле

Джекила в случае его смерти или исчезновения, только вместо имени Хайда глубоко пораженный нотариус прочел в нем имя Габриеля Джона Аттерсона. Он взглянул на Пула, перевел глаза на бумагу и, наконец, обратил их на тело мертвого злодея.

— У меня голова идет кругом, — сказал нотариус. — Все последние дни завещание было в руках Хайда; он не мог меня любить; он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа!

Аттерсон взял вторую бумагу; это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным сверху числом.

— О, Пул, — вскрикнул нотариус. — Джекил еще жил сегодня и был здесь! Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени! Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал! А зачем? Как? Следует ли нам, в случае его бегства, заявить о самоубийстве мистера Хайда? О, мы обязаны действовать осторожно! Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу!

— Почему же вы не прочтете записки, сэр? — спросил Пул.

— Потому что я боюсь! — торжественно возразил нотариус. — Дай Бог, чтобы мой страх оказался неосновательным! — И он наклонился над листком бумаги и прочитал:

«Мой дорогой Аттерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну, при каких условиях — не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Ленайна, который он, по его словам, передал тебе; если же ты захочешь узнать большее — прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга

Генри Джекила».

— Там было еще что-то? — спросил Аттерсон.

— Вот, сэр, — сказал Пул и подал нотариусу довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатами.

Нотариус положил его себе в карман.

— Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь десять часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы, но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.

Аттерсон и Пул ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Аттерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекила.

ГЛАВА IX

Рассказ Ленайона

«Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, написанное рукой моего коллеги и старого школьного товарища Генри Джекила. Это меня сильно удивило; мы с Гарри не переписывались, к тому же накануне я обедал с ним и не мог ожидать, чтобы он написал мне заказное послание. Содержание письма еще больше удивило меня, потому что я прочитал следующее:

«Дорогой Ленайон, ты один из самых старых моих друзей, и хотя мы иногда расходимся в научных вопросах, но наша дружба, по крайней мере, с моей стороны, не уменьшилась. Если бы ты сказал мне: «Джекил, моя жизнь, моя честь, мой рассудок в твоих руках», я немедленно пожертвовал бы всем моим состоянием, чтобы только помочь тебе. Ленайон, моя жизнь, моя честь, — все в твоей власти, и если сегодня вечером ты не протянешь мне руку помощи — я погиб. Вероятно, после этого предисловия ты вообразишь, что я попрошу тебя сделать что-нибудь неблаговидное. Суди сам.

Я прошу тебя отложить на сегодняшний вечер все твои дела, даже если бы тебя звали к больному императору. Если твоя коляска в минуту получения письма не будет у твоих дверей, возьми кэб и, захватив для верности это письмо, приезжай ко мне в дом. Дворецкому Пулу даны все указания; он будет ждать тебя со слесарем. Нужно взломать замок двери моего кабинета. Когда это будет

сделано, войди в него один, отопри стеклянный шкаф (литера Е) с левой стороны; в случае нужды взломай замок и вынь вместе со всем, что там есть, четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий снизу. В моей тревоге я смертельно боюсь дать тебе неверные указания; но даже если я ошибаюсь, ты узнаешь нужный мне ящик потому, что в нем лежит несколько порошков, спрятаны пузырек и записная книга. Я прошу тебя привезти этот ящик со всем, что в нем есть, в Кавэндиш-Сквер.

Это первая часть услуги, перехожу ко второй. Если ты поедешь сейчас же, как только получишь это письмо, ты вернешься домой задолго до полуночи, но я даю тебе так много запасного времени не только из страха, что ты встретишь какие-нибудь препятствия, которых мы не можем ни предвидеть, ни предупредить, но и потому, что для остающейся части задачи гораздо удобнее то время, когда твои слуги уже лягут. В полночь я попрошу тебя быть в твоей комнате для консультаций и собственноручно впустить в дом человека, который придет к тебе от моего имени. Отдай ему мой ящик. Этим окончится твоя роль, и ты заслужишь мою вечную благодарность! Если ты пожелаешь получить объяснение всего, ты через пять минут увидишь, что все, о чем я прошу тебя, крайне важно, что, пренебреги ты хоть одним моим указанием, как бы фантастично оно ни казалось тебе, быть может, на твою совесть падет ответственность за мою смерть или потерю разума.

Хотя я вполне уверен, что ты не откажешь мне, мое сердце замирает, а рука дрожит при одной мысли о возможности отказа. Я теперь в чужом месте, охвачен невыразимым отчаянием, а между тем знаю, что если ты пунктуально исполнишь мою просьбу, все мои неприятности исчезнут, как звуки замолкшего голоса. Не откажи мне, мой милый Ленайон, и спаси твоего друга Г. Д.

Р. С. Я уже запечатал письмо, когда моя душа снова содрогнулась от страха. Быть может, почта запоздает, и письмо придет к тебе только завтра утром. В этом случае, Ленайон, исполни мою просьбу в течение дня, когда ты найдешь это наиболее удобным для себя, и опять-таки жди присланного мной человека в двенадцать часов

ночи. Однако тогда, может быть, окажется уже поздно, и если ночь пройдет безо всяких событий, знай, что ты никогда больше не увидишь Генри Джекила».

Прочитав письмо Джекила, я решил, что мой коллега сошел с ума, но пока это не было установлено, считал себя обязанным исполнить его просьбу. Чем меньше я понимал, что происходит, тем меньше мог судить о важности требований Джекила. Вдобавок нельзя было оставить без внимания письмо, написанное в таких выражениях. Итак, я встал из-за стола, нанял извозчика и отправился прямо в дом Джекила. Дворецкий ждал меня; с той же почтой он получил также заказное письмо, полное наставлений, и послал за слесарем и столяром. Пока мы разговаривали с Пулом, пришли и ремесленники; мы все вместе отправились к анатомическому залу старого доктора Денмана, через который, как ты, вероятно, знаешь, удобно пройти в кабинет. Дверь оказалась крепкой, замок был отличный; столяр сказал, что если ему придется взяться за дело, он проработает долго и сильно попортит дверь; слесарь, казалось, был близок к отчаянию. Но ловкий малый работал удачно, и через два часа дверь распахнулась; шкаф под литерой E открыли; я вынул выдвижной ящик, прикрыл его соломой, завязал в салфетку и вернулся к себе домой.

Здесь я осмотрел содержимое ящика. Бумажки для соли были приготовлены довольно хорошо, но не с аккуратностью настоящего аптекаря, так что я сейчас же убедился, что их складывал сам Джекил. Когда я развернул одну из них, то нашел внутри вещество, походившее на простую белую кристаллическую соль. В пузырьке, на который я обратил внимание, виднелась кроваво-красная жидкость, судя по запаху, очень едкая. Мне показалось, что в ней находилась смесь фосфора с каким-то летучим эфиром. Других ингредиентов жидкости я не мог угадать. Книжка представляла собой обыкновенную записную книгу, и в ней заключались только серии чисел месяцев. Вместе они составляли период в несколько лет, но я заметил, что запись внезапно прекратилась около года тому назад. Время от времени против чисел стояла заметка, обыкновенно одно слово: «Двойной»; оно встречалось раз шесть; в самом начале списка стояли сло-

ва: «Полная неудача», с несколькими восклицательными знаками. Хотя все это возбуждало мое любопытство, но не объясняло ничего. Передо мной был пузырек, приблизительно до половины наполненный какой-то настоящей, порошки соли и записи серий опытов, которые не привели (как и многие изыскания Джекила) ни к какой практической цели. Как могло присутствие этих вещей касаться чести, рассудка или жизни моего легкомысленного друга? Если его посланный мог прийти ко мне, почему он не смел явиться в дом Джекила? И даже допуская какое-нибудь препятствие, зачем я должен был его принять тайно? Чем больше я думал, тем больше убеждался, что имею дело с душевнобольным и, отпустив своих слуг спать, зарядил револьвер, чтобы в случае нужды защитить себя.

Едва пробило двенадцать часов, как раздался очень тихий стук дверного молотка. Я сам открыл дверь и увидел маленького человека, прятавшегося за колонной портика.

— Вы пришли от доктора Джекила? — спросил я.

Он смущенным жестом ответил мне утвердительно, и когда я предложил ему войти в дом, бросил пылливый и испуганный взгляд в темноту. Невдалеке виднелась фигура полицейского, который подходил с открытым стеклом своего фонарика. Мне показалось, что при виде его, мой гость вздрогнул и быстро вошел в дом.

Сознаюсь, эти подробности поразили меня неприятным образом. Когда я ввел незнакомца в ярко освещенную комнату для консультации, я положил руку на револьвер. Наконец, мне удалось разглядеть его. Я видел его, наверное, в первый раз. Он, как я уже сказал, был очень мал ростом; кроме того, меня поразила его фигура, в которой замечалось необычайное соединение большой физической силы с видимой слабостью сложения, и странное беспокойство, вызываемое его присутствием. Это тревожное чувство походило на начало оцепенения и сопровождалось ослаблением Пула. Тогда я решил, что все это — следствие субъективного отвращения, внушаемого его наружностью, и только удивлялся остроте симптомов. Теперь я думаю, что причина неприятного ощущения, производимого им, глубже, что она кроется



*Я сам открыл дверь и увидел маленького человека,
прятавшегося за колонной портика...*

в натуре этого человека и зиждется на гораздо более благородном основании, нежели принцип ненависти.

Эта личность, которая с первой же минуты внушила мне нечто такое, что я могу назвать только смесью отвращения с любопытством, была одета в костюм, который сделал бы смешным всякого другого: платье незнакомца из очень хорошей, прочной, дорогой материи было чудовищно велико и широко ему; панталоны висели на его ногах, и он подвернул их, чтобы они не волочились по земле; его жилет спускался ниже бедер, а воротничок спадал на плечи. Но странное дело, смешной костюм не вызывал во мне смеха. В самом существе человека, стоявшего передо мной, было что-то ненормальное, неестественное, что-то поразительное и возмутительное, а потому лишняя несообразность даже соответствовала его странной наружности. Заинтересовавшись этим человеком, я заинтересовался и мыслью о том, как он живет, какое занимает общественное положение!

Хотя я употребил столько времени на изложение моих замечаний, но в действительности они возникли во мне моментально. Мой гость горел мрачным волнением.

— Вы достали его? — воскликнул он. — Достали?

И его нетерпение было так живо, что он положил свои пальцы ко мне на плечо, пытаясь потрясти меня. Я оттолкнул его, потому что едва он дотронулся до меня, как во мне оледенела кровь.

— Сэр, — сказал я, — вы забыли, что я еще не имею удовольствия знать вас. Не угодно ли вам присесть.

Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем.

— Прошу извинения, доктор Ленайон, — довольно вежливо ответил он. — Все, что вы говорите, вполне основательно, мое нетерпение заставило меня забыть о вежливости. Я пришел к вам по поручению вашего коллеги, доктора Джекила, по важному делу... — он приостановился, приложил руку к горлу, и я понял, что, несмотря на свои сдержанные манеры, он боролся с приступами истерики — и я думал, что ящик...



Я сам сел на обычное место, желая подражать моему же собственному обращению с пациентом, насколько это мне позволял ночной час, характер моей тревоги и ужас, внушенный моим гостем...

Я сжался над ожиданием моего посетителя, да во мне заговорило и мое собственное любопытство.

— Вон он, сэр, — сказал я, указывая на ящик, стоявший на полу за столом и все еще закрытый салфеткой.

Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и приложил руку к сердцу: я услышал, как заскрипели его зубы от конвульсивного сжатия челюстей. Его лицо было так мертвенно-бледно, что мне стало страшно и за его жизнь, и за его рассудок.

— Успокойтесь, — сказал я.

Он улыбнулся мне страшной улыбкой и с решимостью отчаяния откинул салфетку. При виде содержимого ящика из его груди вырвался такой громкий вздох облегчения, что я изумился. Через минуту он сказал мне голосом, которым уже овладел:

— У вас есть мензурка?

Я встал с некоторым усилием и подал ему градуированный стакан.

Он поблагодарил меня, с улыбкой кивнув мне головой, налил в стаканчик немного красной жидкости и всыпал туда же один из порошков. Микстура, бывшая до сих пор красной, по мере того, как таяли кристаллы, начала делаться ярче; она кипела с шипением, и из нее вырывались маленькие клубы пара. Кипение внезапно прекратилось, и в ту же минуту смесь приняла темно-лиловый цвет, и потом стала медленно светлеть и превратилась в жидкость водянисто-зеленого цвета. Мой гость, зорко наблюдавший за этими





*Он поблагодарил меня, с улыбкой кивнув мне головой,
налил в стаканчик немного красной жидкости
и всыпал туда же один из порошков...*

изменениями, улыбнулся, поставил стаканчик на стол и, обернувшись, пытливо взглянул на меня.

— Теперь, — сказал он, — сговоримся. Будете ли вы благоразумны? Позвольте вы мне взять этот стаканчик и без дальнейших объяснений уйти из вашего дома? Или же любопытство имеет над вами слишком большую силу? Подумайте прежде и потом отвечайте, потому что я поступлю, как вы решите. Если вы пожелаете, я оставлю вас ни богаче, ни мудрее прежнего; вы приобретете только сознание, что оказали услугу человеку в смертельной опасности; может быть, это вы сочтете одним из богатств души? Если вы изберете другой образ действий, здесь, в этой комнате, через минуту перед вами откроется новая область знаний, новые пути к славе и могуществу, ваш взгляд будет поражен видом чуда, способного поколебать неверие сатаны.

— Сэр, — сказал я с напускным хладнокровием, — вы говорите загадками и, может быть, сами понимаете, что я слушаю вас с небольшим доверием. Но я так далеко зашел на пути необъяснимых услуг, что должен увидеть конец.

— Прекрасно, — ответил мой гость. — Ленайон, помните ли вы вашу докторскую присягу? То, что случится, — наша профессиональная тайна. Теперь же вы, человек, так долго державшийся узких и материальных взглядов на жизнь, отрицавший достоинства отвлеченных медицинских теорий, смеявшийся над людьми, которые выше вас, смотрите!

Он поднес стакан ко рту и залпом выпил его. Послышался крик; мой гость зашатался, схватился за стол, его глаза налились кровью, из раскрытых губ вырвалось тяжелое дыхание... На моих глазах совершилась страшная перемена: он начал как бы пухнуть, расширяться; его лицо внезапно почернело, а черты точно слились и изменились. Через мгновение я вскочил со стула и отшатнулся к стене, закрывая рукой лицо от свершившегося чуда. Мой ум мутился от ужаса. «О, Боже!» — простонал я и все повторял: «О, Боже!». Передо мной стоял, словно в полубомороке, бледный, измученный Джекил. Он протягивал вперед руки, точно человек, воскресший из мертвых...



*На моих глазах совершилась страшная перемена:
он начал как бы пухнуть, расширяться...*

Я не могу заставить себя написать того, что он сказал мне. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа глубоко потрясена. Теперь, когда я не вижу его, я спрашиваю сам себя, верю ли я тому, что видел, и не могу ответить. Моя жизнь подорвана в самом своем основании. Я лишился сна; смертельный ужас мучит меня днем и ночью; я чувствую, что дни мои сочтены, что я должен умереть, но я умру не веря. Что касается до нравственного падения, которое этот человек открыл мне со слезами раскаяния, я не могу даже мысленно вспоминать о нем без содрогания. Только одно скажу тебе, Аттерсон, и этого (если только ты заставишь себя поверить мне) будет достаточно. По собственному признанию Джекила, существо, прокравшееся в эту ночь в мой дом, носило фамилию Хайда, и его искали по всей стране как убийцу Керью.

Гести Ленайон».

ГЛАВА X

Полный рассказ Генри Джекила

«Я родился в 18... году среди богатства, с прекрасными дарованиями и с склонностью к науке. Я с юности желал заслужить уважение моих умных и добрых братьев-людей; следовательно, можно было бы предполагать, что во мне крылись богатые данные для достижения почета и отличий. Все худшие из моих проступков явились плодом нетерпеливой жажды жить. Эта жажда сделала многих счастливыми; но я находил, что трудно совмещать страсть к наслаждениям с настоящей потребностью высоко держать голову и казаться людям более чем серьезным человеком. Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубоко двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в которых был повинен я. Но с высоты целей, увлекавших меня, уступки человеческим страстям казались мне постыдными, я скрывал их почти с болезненным стыдом. Таким образом, мои стремления, а не глубина проступков, сделали меня тем, чем я был, и разграничили во мне более глубокой бороздой, нежели в других людях, область добра от области зла, составляющие две стороны природы каждого человека. Все это заставило меня настойчиво размышлять о суровом жизненном законе, который лежит

в основании религии и представляет собой один из наиболее обильных источников тревоги. Хотя я действовал глубоко двойственным образом, но не был лицемером. И в том, и в другом случае я поступал вполне искренно. Я не был больше самим собой, когда, отложив всякие стеснения, погружался в разгул, нежели в часы, которые посвящал науке или думал об избавлении людей от горя и страданий. И вот направления моих занятий, которые вели меня к мистицизму и трансцендентальной науке, пролили яркий свет на сознание постоянной борьбы двух моих различных сторон. Каждый день разум и нравственное чувство приближали меня к той истине, неполное открытие которой послужило для меня таким ужасным несчастьем! Я с каждым днем все больше и больше убеждался, что человек не одно существо, а два. Я говорю два, потому что размер моего знания не больше. Другие пойдут по тому же пути, другие превзойдут меня, и я предвижу, что когда-нибудь наука признает человека сложным существом, состоящим из разнообразных, несходных и независимых индивидуумов. Благодаря характеру моей жизни, я шел в одном направлении, и только в одном. Я понял, что с нравственной стороны человек вполне двойствен; я убедился в этом на самом себе. Я убедился, что если из двух натур, борющихся на арене моего сознания, одну и можно было назвать истинно моей природой, то лишь потому, что они обе неоспоримо и всецело принадлежали мне. С давних пор, даже раньше, чем мои научные открытия дали мне некоторую возможность подобного чуда, я с любовью останавливался на мысли о разъединении разнородных элементов человеческой природы. «Если, — думал я, — каждая из этих натур вселилась бы в отдельную плоть, жизнь освободилась бы от всего, что в ней есть невыносимого; несправедливый пошел бы по своей дороге, не стесненный стремлениями и раскаяниями своего более высокого близнеца; праведный спокойнее и увереннее следовал бы по тропе добродетели, с удовольствием творя добро и не подвергаясь стыду и раскаянию, благодаря проступкам, совершенным посторонним ему злым элементом. На несчастье человеческого рода, эти несходные части связаны между собой, и враждующие близне-

цы вечно борются в истерзанных недрах сознания. Как же разъединить их?».

Об этом я раздумывал, когда со стола лаборатории упал свет, озаривший предмет моих размышлений. Я стал замечать туманные переходы и известную нематериальность в, по-видимому, устойчивом теле, которое одевает нас. Я увидел, что некоторые вещества имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставляя ее отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает ее от окна. Две причины мешают мне углубиться в научную часть моей исповеди. Во-первых, я узнал, что проклятие и гнет жизни навеки прикованы к плечам человека, что, если он попытается сбросить их с себя, они снова с возросшей силой ложатся на него; во-вторых, мой рассказ, увы, выяснит всю неполноту моего открытия. Скажу лишь, что я не только признал мое естественное тело отсветом сил, составляющих мой дух, но и приготовил смесь, которая могла лишить одну из этих сил ее первенствующего места и дать другим, прежде подчиненным элементам, оболочку, не менее свойственную мне, чем первая, так как и она тоже носит на себе отпечаток известных свойств моей природы, а именно — низких сторон моей души.

Я долго не решался испытать эту теорию на опыте. Я отлично знал, что рисковал жизнью. Вещество, которое с таким могуществом подавляло и потрясало саму крепость моей личности, могло бы при одном лишнем грамме или при малейшем несвоевременном его принятии внутри совершенно освободить нематериальную часть моего существа, которую я хотел только отделить от других элементов, дав ей ее оболочку, но искушение произвести такой необычайный и глубокий опыт, наконец, одержало верх над страхом. Я уже давно приготовил тинктуру и купил большое количество одной соли, которая, как я убедился, была последней составной частью, необходимой для меня. В одну проклятую ночь в поздний час я смешал два вещества и наблюдал, как они дымилась и кипели в стакане; когда же испарение прекратилось, я мужественно выпил напиток.

Начались ужасные страдания, мои кости скрипели, я чувствовал невыносимую тошноту и такое смятение духа

и ужас, которых человек не может пережить ни в минуту рождения, ни в минуту смерти. Потом муки стали быстро ослабевать, и я пришел в себя, точно после глубокого обморока. В моих ощущениях было что-то странное, что-то невыразимо новое и, в силу этой новизны, приятное. Я почувствовал себя моложе, легче, счастливее; в душе я ощущал беззаботность, жажду наслаждений; в моем воображении проносилась вереница беспорядочных чувственных картин. Я испытывал полное отрешение от уз долга, новую неведомую, но невинную свободу души. С первого же вздоха новой жизни я почувствовал себя хуже, гораздо хуже, чем был до тех пор, понял, что я раб моих дурных страстей, но эта мысль только опьянила меня, как вино. Я протянул руки, ликуя от сознания свежести ощущений, и в то же мгновение заметил, что стал гораздо меньше ростом.

В это время в моей комнате еще не было зеркала, которое теперь стоит рядом с моим письменным столом и принесено позже именно для переходов из одной оболочки в другую. Между тем время подходило к утру, к утру такому темному и мрачному, что оно не вязалось с понятием о дне. Все мои домашние еще спали. Я, горевший радостью торжества и надежды, решился проникнуть в моей новой форме к себе в спальню. Я перешел через двор; с неба смотрели звезды и (как мне могло бы представиться) впервые видели такое существо, каким был я. Чужой в своем собственном доме, я прокрался по коридорам и в спальне в первый раз взглянул на облик Эдуарда Хайда.

Теперь мне придется говорить только теоретически не о том, что я знаю, а о том, что мне кажется самым вероятным. Дурная сторона моей натуры, которая оделась выражающей ее оболочкой, менее развивалась и была слабее, нежели лучшая часть моего «я», теперь брошенная мной. Затем, в течение моей жизни, девять десятых которой все же прошли под властью добродетели и силы воли, эта дурная сторона меньше истощалась. Вот почему, как мне кажется, Эдуард Хайд был гораздо тоньше и моложе Генри Джекила. Насколько добро светилось в чертах одного, настолько зло было ясно начертано в лице другого. Зло, которое я продолжаю считать отталкиваю-

щей стороной человека, наложило и на это тело Хайда отпечаток уродства и низости. Однако, когда я увидел в зеркале отражение этого безобразного идола, я не испытал чувства отвращения; меня скорее влекло к нему. Это же был я; образ, который стоял передо мной, казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, тело Хайда носило более яркий отпечаток духа, казалось более выразительным и обособленным, нежели несовершенный и смешанный образ, который я до тех пор называл моей наружностью. В этом отношении я, без сомнения, был прав. Впоследствии я замечал, что когда я облакался в наружность Хайда, всякий, впервые приближавшийся ко мне, испытывал трепет. Это, как мне кажется, происходило потому, что все человеческие существа, в том виде, как мы их обыкновенно встречаем, представляют собой смесь добра и зла, а Эдуард Хайд, единственный из всех живущих на земле, был чистым злом.

Я только минуту простоял перед зеркалом. Следовательно приступить ко второму, заключительному опыту; мне оставалось убедиться, окончательно ли, безвозвратно ли я потерял свой прежний облик, и не предстояло ли мне бежать при наступлении дня из дома, который перестал быть моим. Поспешив в кабинет, я снова приготовил питье, выпил его, испытал новые муки и пришел в себя, приняв фигуру, лицо и характер Генри Джекила.

В эту ночь я был на роковом перекрестке. Если бы я приблизился к моему открытию в более благородном состоянии духа, если бы я решился на опыт под влиянием великодушных и благочестивых стремлений — все было бы иначе, и, после агонии смерти и рождения, я явился бы не дьяволом, а ангелом. Смесь действовала безразлично; она не имела ни дьявольского, ни божественного влияния и могла только распахнуть тюремные двери и освободить один из элементов моей души; как узники Филиппи, тот из них, который в эту минуту первенствовал во мне над другим, должен был воспользоваться свободой. Во время опыта моя добродетель дремала; зло, бывшее во мне и оживляемое честолюбием, бодрствовало, оно быстро воспользовалось представившимся случаем, и вот явился Эдуард Хайд. Итак, теперь я имел два образа, один из них был полным злом, другой прежним



Я только минуту простоял перед зеркалом... (к стр. 83)

Генри Джекилом, то есть был несообразной смесью различных элементов, исправить и пересоздать которую я уже отчаялся. Итак, постепенное и последовательное передвижение совершилось теперь уже всецело в худшую сторону.

Даже в это время я еще не победил ненависти к сухости жизни ученого. Но временами я испытывал припадки страсти к удовольствиям, и так как они были неблагоприятны, а я считался известным и почтенным человеком, разнузданность моей жизни с годами становилась все более и более неудобной для меня. С этой стороны мое новое могущество служило для меня большим искушением, которому я поддавался, пока сам не попал к нему в рабство. Едва я выпивал смесь, как покидал тело знаменитого профессора и, как бы, закрывался непроницаемым плащом, принимая образ Эдуарда Хайда. Я улыбался, думая о моем щите; иногда этот маскарад казался мне поразительно смешным. Я позаботился обо всех предосторожностях. Я нанял и обставил в Сохо тот дом, в который полиция пришла за Хайдом, и пригласил туда в качестве экономки женщину, как я знал, очень молчаливую и несовестливую. У себя же я объявил слугам, что предоставляю мистеру Хайду (я описал его) полную свободу в моем доме. Желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стал часто приходить во втором моем образе в мой дом и сделался в нем для всех своим человеком. Затем я написал то завещание, против которого ты так сильно восставал. Если бы со мной случилось несчастье в образе Генри Джекила, я мог сделаться Эдуардом Хайдом без малейшей денежной потери. Обеспечив себя, как мне казалось, со всех сторон, я стал пользоваться странной безнаказанностью моего положения.

Прежде люди нанимали убийц, чтобы совершать свои преступления, когда высота их положения и репутация мешали им действовать лично. Я первый прибег к этому способу, чтобы наслаждаться. Я первый мог оставаться в глазах людей уважаемой личностью, затем внезапно, как школьник, скидывать с себя узы порядочности и с головой бросаться в море свободы. Только один я находил полную безопасность в моем непроницаемом плаще. Подумай: я даже не существовал. Стоило мне

уйти в лабораторию, в течение двух секунд приготовить смесь и проглотить ее, чтобы все, что сделал Хайд, исчезло, как пятно от дыхания с зеркала. Хайд пропал, а вместо него являлся человек, читавший при спокойном свете полуночной лампы, человек, которого не могло коснуться подозрение, — Генри Джекил.

Как я уже сказал, маскируясь, таким образом, я хотел только наслаждаться, выражаясь жестоко, непочтенными удовольствиями (по совести, я не могу употребить более резкого выражения). Но в руках Эдуарда Хайда эти удовольствия вскоре стали чудовищными. Вернувшись с походов, я часто удивлялся моей временной испорченности. Существо, которое я вызывал из своей души и посылаю в мир с тем, чтобы оно делало все, что ему вздумается, было зло и низко; каждый его поступок, каждая его мысль сосредотачивались на нем же самом; он с животной жадностью пил наслаждения, вытекавшие из страданий других. Он был неумолим, как камень. Часто Генри Джекил с ужасом вспоминал о поступках Хайда; однако он находился вне обыкновенных законов, и положение Генри коварно освобождало его от упреков совести. Ведь, в сущности, всегда виноват был Хайд, один Хайд; Джекил не делался хуже, он просыпался прежним человеком, с прежними, казалось, не уменьшенными хорошими качествами; он даже спешил, в тех случаях, когда это было возможно, разрушать зло, принесенное Хайдом. Совесть спала в нем.

Я не намереваюсь подробно говорить о низостях, допущенных мной (даже теперь я не могу признать, чтобы совершил их), я желаю только указать на предостережения, полученные мной, описать постепенные шаги, которые привели меня к наказанию. Об одном случае, не имевшем для меня последствий, я только упомяну. Я поступил жестоко с незнакомым мне ребенком, и мое бессердечие возбудило негодование прохожего, в котором я недавно узнал твоего родственника; один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь, наконец, с целью успокоить их вполне справедливый гнев, Хайду пришлось отвести их к двери лаборатории и вынести им чек на имя Генриха Джекила. Однако можно было избежать такой опасности, открыв в

другом банке счет на имя самого Хайда. И когда я, придав моему почерку наклон в обратную сторону, снабдил моего двойника собственной его подписью, мне показалось, что рука судьбы не может достигнуть меня.

Месяца за два до убийства сэра Денверса я ушел искать приключений, вернулся поздно и на следующий день проснулся с очень странным ощущением. Напрасно я осматривался, напрасно я вглядывался в пристойное убранство моей комнаты в собственном моем доме, напрасно я узнавал покроем полого и рамки из красного дерева, что-то продолжало говорить мне, что я не там, где мне это кажется, что я в той комнате, где всегда ночевал в теле Хайда. Я улыбнулся и, поддаваясь наклонности разбирать психологические явления, стал лениво отыскивать происхождение этой иллюзии; размышляя, я опять впал в спокойную утреннюю полудремоту. Я все еще был в этом состоянии, когда нечаянно взглянул на мою руку. Рука Генри Джекила (как ты сам замечал) по своей форме и величине настоящая докторская рука: большая, твердая, белая и красивая. Однако при желтом свете лондонского утра я довольно ясно увидел другую руку, полускрытую простыней; она была худа, жилиста, узловата, тускло бледна и оттенена, как черным налетом, густыми волосами: передо мной была рука Эдуарда Хайда!

Вероятно, с полминуты я, окаменев от изумления, смотрел на нее, и только потом ужас сжал мою грудь, ужас внезапный, как аккорд цимбал. Я выскочил из постели и бросился к зеркалу. При виде образа, отразившегося в нем, моя кровь превратилась во что-то холодное, острое. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Хайдом. Чем мог я объяснить подобное явление? Я задал себе этот вопрос и вдруг, снова содрогнувшись от ужаса, задал другой: как помочь делу? Утро уже наступило, слуги встали; все мои химические принадлежности хранились в кабинете... Меня приводила в ужас мысль о длинном путешествии, предстоявшем мне. Я должен был спуститься с лестницы, пройти по заднему коридору, пересечь открытый двор и проскользнуть в анатомический театр. Конечно, я мог закрыть лицо, но к чему бы это привело меня, раз я не имел средств скрыть моего изменившегося роста и фигуры. Потом, с необычайной

радостью успокоения, я вспомнил, что вся прислуга уже привыкла к появлению в доме моего второго «я». Я наскоро оделся в слишком просторное и длинное для Хайда платье Джекила и прошел через дом. Бредшау, встретивший меня, вздрогнул при виде мистера Хайда в такой ранний час и в таком странном костюме. Минут десять спустя доктор Джекил принял свой собственный вид и с омрачившимся лицом притворялся, будто он завтракает.

...Поистине у меня был плохой аппетит. Необъяснимый случай (видоизменение моих прежних опытов), точно огненный вавилонский перст, предупреждал меня о моей гибели. Я серьезнее, чем когда бы то ни было, подумал о возможных превратностях моего двойственного существования. Та часть моего «я», которая могла обособляться, все последнее время очень часто являлась на свет Божий и сильно развилась. Как-то раз мне показалось, что Эдуард Хайд вырос, а также, что в его оболочке я чувствовал в себе больше могучих волн крови, чем прежде. Я стал бояться, что если дело и дальше пойдет таким образом, равновесие моей природы нарушится навсегда, я потеряю возможность производить перемену по желанию, и натура Эдуарда Хайда сделается невозвратно моей. Сила напитка не всегда оказывалась одинаковой. Однажды в самом начале смесь совершенно не подействовала; позже мне не раз приходилось удваивать приемы, а однажды, подвергая свою жизнь сильной опасности, утроить дозу. Под влиянием ужасного случая я стал перебирать все, что испытывал за это время, и ясно увидел, что вначале я с большим трудом сбрасывал с себя тело Джекила, но с течением времени происходила постоянная, но ясная перемена: теперь мне было гораздо труднее покинуть тело Хайда, нежели оболочку Джекила. Словом, все указывало, что я мало-помалу утрачивал свое природенное, лучшее «я» и медленно, но окончательно сливался с моей второй и худшей натурой.

Я понял, что мне предстоял выбор. У обеих моих натур была общая память: все же остальные способности распределялись между ними очень неравномерно. Джекил (существо сложное) то со страхом, то с жадным наслаждением думал об удовольствиях и приключениях Хайда; Хайд же относился к Джекилу совершенно равно-

душно или если и вспоминал о нем, то единственно с тем чувством, с которым горный бандит вспоминает о пещере, в которой он укрывается от преследований. Джекил питал к Хайду отеческую заботу; Хайд отличался более чем равнодушным отношением. Избрав судьбу Джекила, я навсегда умер бы для чувственных наклонностей, которые прежде тайно допускал в себе, а в последнее время нежил и холил. Перейдя в Хайда, я умер бы для множества высоких стремлений и целей, сделался бы внезапно и навсегда человеком презренным, одиноким, лишенным расположенных к нему друзей. Выгоды казались неравны, но на весах лежали еще и другие соображения: Джекил страдал бы от воздержаний, а Хайд даже не сознавал бы цены того, что он утратил. Как ни странно обстоятельство моего существования, подобная борьба так же стара, как мир, и свойственна человеку. Каждый дрожащий и соблазняемый грешник бросает точно такие же кости. Я, как и большинство мне подобных, избрал лучшую часть, но не нашел в себе силы сдержать задуманное.

Да, я избрал участь старого, неудовлетворенного собой доктора, окруженного друзьями и питающего честные надежды; я решительно простился со свободой, относительной молодостью, легкой походкой, волнениями сердца и с тайными удовольствиями мистера Хайда. Я избрал хороший путь, однако, может быть, с некоторыми ограничениями, потому что не отдал дома в Сохо и не уничтожил платья Хайда, лежавшего в моем кабинете. Как бы то ни было, я целых два месяца вел такую суровую жизнь, как никогда прежде, и зато находил награду в одобрении моей совести. Но время уменьшило живость моего ужаса; уступки совести сделались вещью обыкновенной. Меня начали терзать прежние стремления и желания — казалось, Хайд рвался на свободу; наконец в минуту слабости я снова составил и проглотил смесь.

Мне не кажется, чтобы пьяница, рассуждающий с самим собой о своем пороке, хотя бы однажды из пятисот раз подумал об опасностях, которым он подвергается в состоянии грубого физического бесчувствия от опьянения. То же было и со мной: я часто подолгу размышлял о своем положении, но ни разу мысленно не увидел бед, в которые меня могла вовлечь вечная готовность делать

зло и полное нравственное бесчувствие, составляющее основную черту натуры Хайда. А именно это-то и готовило мне наказание! Мой дьявол слишком томился в клетке, слишком долго и с грозным рыканием порывался наружу!

Едва я выпил напиток, как сейчас же почувствовал необычайно бурное, неукротимое злое влечение. Вероятно, это и было причиной, по которой вежливость моей несчастной жертвы вызвала во мне страшное раздражение. По крайней мере, перед лицом Бога я заявляю, что ни один нравственно здоровый, не безумный человек не мог бы совершить злодеяния, поддаваясь такому незначительному поводу, какой двигал Хайдом. Я ударял Керью не более сознательно, нежели большой ребенок ломает игрушку. Но я добровольно сбросил с себя все уравнивающие инстинкты, в силу которых даже худший из нас до некоторой степени противится соблазну, и поставил себя в условия, делавшие для меня всякое искушение, даже самое легкое, причиной неизбежного падения.

Адский дух внезапно проснулся во мне, и я пришел в ярость. Я с восторгом бил несопротивлявшееся тело, и каждый удар наполнял меня наслаждением; только почувствовав усталость, я ощутил в себе холод ужаса. Туман рассеялся; я увидел, что моя жизнь погибла; я бросился с места преступления со смешанным чувством довольства и страха. Жажда зла была удовлетворена во мне и вместе с тем усилена, а любовь к жизни доведена до высшей степени. Я бросился в Сохо и, чтобы лучше оградить себя, уничтожил все мои бумаги, потом пошел вдоль освещенных фонарями улиц в том же состоянии раздвоенного экстаза. Я наслаждался моим преступлением, легкомысленно задумывал новые, а между тем торопился и все прислушивался, не раздадутся ли за мной шаги мстителя. Напевая песню, Хайд составил смесь и, пока пил, смеялся над мертвым. Но не прекратились еще муки перехода от одной формы к другой, как Генри Джекил, заливаясь слезами благодарности и раскаяния, упал на колени и в молитвенном порыве простер руки к Богу. Покров снисходительности к себе разорвался сверху донизу, я увидел всю свою жизнь; я мысленно воскресил в себе дни дет-

ства, когда ходил под руку с отцом, дни самоотреченных работ моей профессиональной деятельности...

А между картинами былого во мне со страшной силой восставали ужасы проклятого вечера. Я был готов громко стонать. Со слезами и молитвами я гнал толпу отвратительных картин, воспоминания о мучительных звуках, которыми моя память осаждала меня. И все же, несмотря на мольбы, уродливое лицо моего преступления заглядывало в мою душу. Когда острота раскаяния исчезла, ее заменило чувство радости. Проблема моего дальнейшего поведения была разрешена. С этой поры Хайд не мог более существовать. Волей-неволей мне приходилось ограничиться лучшей частью моего существования; и — о, как меня радовала эта мысль! — я смиренно подчинился снова стеснениям естественной жизни. С каким искренним чувством отречения я запер дверь, через которую так часто Хайд входил и выходил, и растоптал ногами ключ.

На следующий день я узнал, что преступление Хайда обнаружилось для света, а также, что его жертва пользовалась всеобщим уважением. Поступок Хайда составлял не только преступление, но и трагическое безумие. Помнится, я с удовольствием услышал это и обрадовался, что ужас эшафота охранял мои лучшие побуждения. Джекил сделался моим прибежищем; покажись Хайд хоть на мгновение, все руки поднялись бы, чтобы схватить и убить его.

Я решил загладить прошлое моим будущим поведением, и по чести имею право сказать, что мои намерения принесли некоторые хорошие плоды. Ты сам знаешь, с каким жаром я в течение последних месяцев прошлого года старался помогать страждущим; ты знаешь, что я сделал многое для людей, и что дни текли для меня спокойно, почти счастливо. По совести я могу сказать, что эта невинная благотворительная жизнь не надоела мне; напротив, я с каждым днем все полнее и полнее наслаждался ею. Но на мне лежало проклятие двойственности, и как только раскаяние слегка сладилось, моя низшая природа, которой я так долго предоставлял свободу, сковав ее так недавно, стала требовать воли. Однако я и не помышлял воскресить Хайда; одна мысль об этом пугала меня

до ужаса. Нет, я задумал войти в новую сделку с моей совестью, не покидая личности Джекила. Я уступил искушению, как обыкновенный тайный грешник.

Я подхожу к концу рассказа. Даже самое емкоеместилище наполняется; короткая уступка злу окончательно нарушила мое духовное равновесие. Однако я ничего не предполагал, ничего не боялся; мое падение представлялось мне вещью естественной; мне казалось, что для меня опять наступает такая жизнь, какую я вел до открытия тайны. Стоял светлый, ясный январский день; в тех местах, где ледяная корочка растаяла, было сыро; но над головой не виднелось ни облачка. В Реджент-Парк слышалось чириканье зимних птичек, и вместе с тем носилась клубы весеннего аромата. Я сидел на солнышке, на скамейке; животная сторона моей жизни наслаждалась воспоминаниями, духовная несколько оцепенела; впереди передо мной мерцало раскаяние, но каяться я еще не начинал. В сущности, думалось мне, я похожу на всех моих соседей. Я даже улыбнулся, сравнивая мои деятельные порывы к добру с ленивой жестокостью их забвения. И в ту самую минуту, как тщеславная мысль пришла мне в голову, мне стало дурно; я почувствовал страшный припадок тошноты, смертельный озноб; потом все это прекратилось, и я впал в глубокий обморок. Вскоре я очнулся и почувствовал, что направление моих мыслей изменилось: я ощутил в себе большую смелость, презрение к опасности, отрешение от требований долга. Я взглянул вниз; платье бесформенно висело на моем съжившемся теле; рука, лежавшая на колене, была жилиста и волосиста. Я снова сделался Эдуардом Хайдом! За мгновение перед тем я знал, что все меня уважают; я был богат, любим; в моей столовой лежала скатерть на столе, ожидавшем меня, а теперь я стал хищником, известным убийцей, предназначенным для виселицы.

Мой ум пошатнулся, но рассудок не вполне оставил меня. Я не раз замечал, что в моем втором виде все мои способности обострялись и ум делался острым и ясным. Вероятно, именно поэтому при тех обстоятельствах, которые совсем подавили бы Джекила, Хайд воспрянул. Мои снадобья лежали в одном из шкафов в кабинете. Как их достать? Вот эту-то проблему я и стал решать, сжимая



Я сидел на солнышке, на скамейке...

виски руками. Я запер дверь с глухой улицы. Если бы я пытался войти через дом, мои слуги собственноручно отдали бы меня на виселицу. Я понял, что мне следовало употребить посредника, и подумал о Ленайоне. Но как его увидеть? Как убедить? Даже если бы я избежал ареста на улице, мог ли я увидаться с ним? Как? Как я, неизвестный, неприятный посетитель, мог убедить знаменитого доктора обшарить кабинет его коллеги Джекила? Но тут я вспомнил, что у меня оставалась одна способность моей первоначальной личности. Я мог писать моим собственным почерком. Едва во мне вспыхнула эта искра, я увидел дорогу, которой мне следовало идти.

Я кое-как приновил слишком большое и широкое платье, крикнул проезжавший наемный экипаж и отправился в одну гостиницу на Портлендской улице, так как случайно помнил название этого отеля. При виде моей фигуры, действительно довольно комичной (хотя под наружностью и скрывалась глубокая драма), кучер не мог удержаться от смеха. Но я в припадке дьявольской ярости заскрежетал на него зубами, и, по счастью для него, улыбка сбежала с его лица; да и для меня это было счастьем, потому что в ином случае я сбросил бы его с козел. Когда я входил в гостиницу, я осматривался с таким мрачным видом, что вся прислуга невольно содрогалась. Никто из слуг не посмел даже переглянуться; все почтительно выслушали мои приказания, отвели меня в отдельную комнату и подали письменные принадлежности. Хайд в смертельной опасности оказался совершенно новым для меня существом: в нем бушевал беспорядочный гнев, он был готов совершить убийство, жаждал причинять страдания. Однако это хитрое существо усилием воли подавило свое раздражение. Хайд написал два важных письма: одно Ленайону, другое Пулу; желая, чтобы они непременно дошли по назначению, он велел их послать заказными.

Хайд целый день просидел в отдельной комнате у камина и грыз ногти; он и обедал один со своими страхами, а подававший ему кушанья слуга, встречаясь с ним глазами, видимо, вздрагивал. Когда спустилась тьма, Хайд сел в экипаж и, прижавшись в уголок, стал ездить по улицам города. Я говорю Хайд, я не могу сказать: «я». В этом

исчадии ада не было ничего человеческого, его переполняли только страх и ненависть. Когда, наконец, ему показалось, что в извозчике зарождаются какие-то сомнения, он отпустил кэб и пошел пешком. Широкое, болтавшееся на нем платье делало его предметом внимания ночных прохожих; в сердце его, как буря, волновались только низкие чувства. Он шел быстро, его преследовал страх, он бормотал что-то про себя, проскальзывая в самые глухие переулки, считая минуты, оставшиеся до полуночи. С ним заговорила какая-то женщина; кажется, она предложила ему купить коробочку спичек; он взглянул ей в лицо, и она убежала.

Когда я очнулся у Ленайона, ужас моего старого друга несколько опечалил меня, но я хорошенько не помню этого; его огорчение было каплей в море ужаса, с которым я смотрел на только что протекшие часы. Во мне произошла перемена. Теперь меня терзал не страх виселицы, а страх возможности снова сделаться Хайдом. Я как в полусне слышал приговор Ленайона, как в полусне я вернулся домой и лег в постель. После волнений дня я спал глубоким, крепким сном, и даже кошмары, терзавшие меня, не нарушали его. Когда я проснулся утром, я был потрясен, я чувствовал слабость, но все же немного освежился. Я по-прежнему с ужасом и ненавистью думал о чудовище, дремавшем во мне, и, без сомнения, не забыл опасностей, пережитых накануне, но я был снова в собственном доме, вблизи от моего зелья, и благодарность за спасение так сильно горела в моей душе, что могла сравниться со светом надежды.

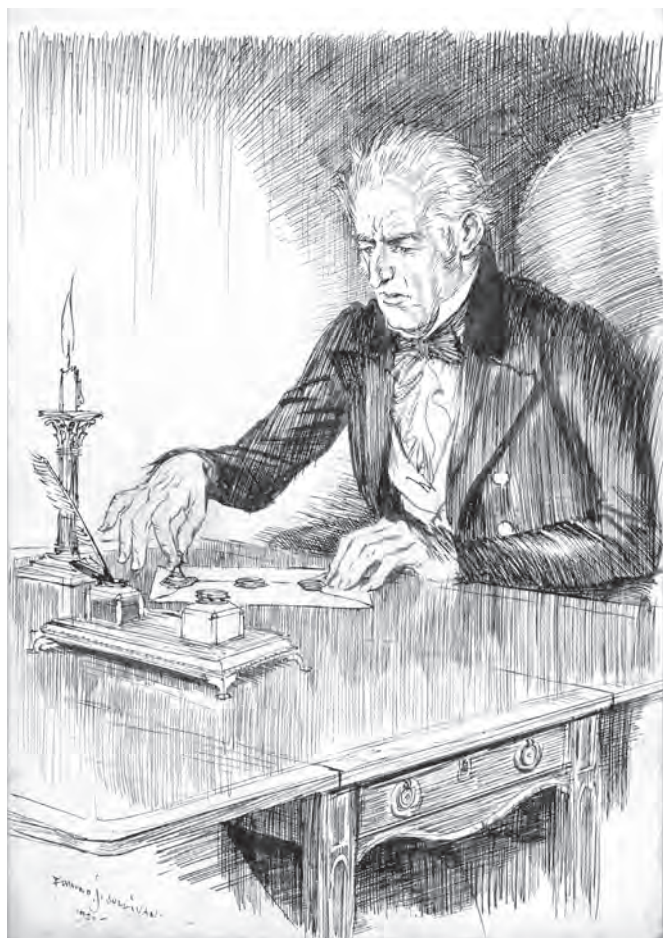
Я медленно шел через двор после завтрака, с удовольствием вдыхая холодный воздух, и вдруг меня опять охватили непередаваемые ощущения, предвещавшие превращение. Я едва успел спрятаться в кабинет, как меня уже снова волновали злобные, бешеные страсти Хайда. Мне пришлось принять двойную дозу, чтобы вернуться к собственной личности, и, увы, шесть часов спустя, когда я сидел, грустно смотря в огонь, я опять почувствовал близость превращения, и мне пришлось снова прибегнуть к смеси. Словом, с этого дня я бывал Джекилом только после приема смеси или в те минуты, когда делал над собой большие усилия. Во все часы дня и ночи меня

охватывала дрожь, служащая предвестником перехода. В особенности, если я спал или хотя бы дремал в кресле, я всегда просыпался Хайдом. Страдая от угрозы этого вечного проклятия и благодаря бессоннице, на которую я осудил себя, я в образе Джекила сделался существом, истощенным лихорадкой, слабым душевно и телесно, подавленным мыслью о моем втором «я». Но когда я спал, или когда смесь не действовала, я делался почти без перехода (муки трансформации уменьшались с каждым днем) человеком, в уме которого толпились ужасные образы, в душе кипела беспричинная ненависть, а тело, как казалось, было недостаточно крепким, чтобы вмещать всю бешеную энергию его жажды жизни. Силы Хайда возросли вместе со слабостью Джекила. Без сомнения, теперь они оба одинаково ненавидели друг друга. Джекил питал злобу к Хайду в силу инстинкта сохранения жизни. Он видел полное безобразие существа, делившего с ним некоторые проявления сознания, существа, которое умерло бы вместе с его физической гибелью. Оставляя в стороне эти узы, приводившие Джекила в глубокое отчаяние, он думал о Хайде, как о чем-то не только адском, но и неорганическом. Было ужасно, что аморфная слизь сырой стены могла кричать и говорить, что бесформенная пыль жестикулировала, грешила, что нечто мертвое, не имевшее образа, захватывало область жизни! И это чудовищное нечто было связано с Джекилом теснее, нежели жена, теснее, нежели глаз! Его терзало сознание, что в его теле гнездится этот элемент, что он рвется наружу и в минуту слабости или спокойствия сна одолевает его и вычеркивает из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу носила иной характер. Страх виселицы заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному состоянию части, а не отдельной личности. Однако Хайд досадовал на уныние Джекила и негодовал на то, что Генри так ненавидел его. Это-то и порождало его вечные злые шутки надо мной: он писал моей собственной рукой различные кощунства в чтимых мной книгах, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца и, право, если бы только он не боялся смерти, то уже давно погубил бы себя, чтобы только навлечь гибель и на меня. Но он необычайно любит жизнь. Больше: я сам, ледене-

ющий и теряющий мужество при одной мысли о нем, вспоминая, с какой страстной трусостью он жаждет жизни, как он боится, что я прекращу его существование самобийством, невольно жалею его.

Больше описывать мое состояние не буду; это бесполезно, да и времени у меня не хватает. Скажу только, что я пережил такие мучения, каких не испытал ни один человек на свете, а между тем они со временем стали, не скажу легче, нет, но сделались выносимее, потому что моя душа загрубела и до известной степени привыкла к отчаянию. Мое наказание могло бы длиться еще много лет, не случись того несчастья, которое произошло со мной и окончательно лишило меня моей собственной наружности и природы. Запас соли, не возобновлявшийся со времени первого опыта, начал истощаться. Я послал за этим веществом и смешал его с настойкой; началось кипение, произошла первая перемена окраски, но не вторая; я выпил смесь, и она не произвела на меня никакого действия. Пул скажет тебе, как я посылал слуг во все аптекарские склады Лондона; все было напрасно, и теперь я вполне убедился, что первая купленная мной соль была не чиста, что именно неизвестная примесь и придавала веществу его силу.

Прошло около недели, и я заканчиваю мой рассказ под влиянием последнего из старых порошков. Итак, скоро Генри Джекил перестанет думать своими собственными мыслями и видеть в зеркале свое собственное лицо (ужасно изменившееся!). Я не могу писать слишком долго, так как если до сих пор моя рукопись могла еще уцелеть, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайд разорвет ее в клочки, но если пройдет некоторое время, и я отложу мой манускрипт, удивительное себялюбие Хайда и его неспособность выходить за пределы данной минуты, вероятно, снова спасут рукопись от уничтожения. Проклятие, которое лежит на нас обоих, изменило и несколько раздало Хайда. Я знаю, что через час, когда я снова и навсегда переселюсь в его ненавистную личность, я буду сидеть в моем кресле, дрожать, плакать, с напряжением прислушиваться ко всем звукам или ходить взад и вперед по



этой комнате, составляющей мое последнее земное прибежище. Умрет ли Хайд на эшафоте, или он найдет мужество освободить себя в последнюю минуту? Бог знает. Мне все равно. Мой настоящий смертный час настал; все, что последует, будет уже касаться не меня, а другого. Итак, я положу перо и запечатаю мою исповедь; этим закончится жизнь несчастного Генри Джеккила».

ПРИТЧИ

ГЕРОИ ИСТОРИИ



После окончания 32-й главы «Острова сокровищ» два действующих лица этой повести вышли прогуляться и выкурить по трубочке, пока дела снова не призовут их обратно. Они встретились на открытой местности неподалеку от самой книги.

— Доброе утро, кэп! — сказал первый из них, отсалютовав по-военному и буквально сияя от радости.

— А, Сильвер! — хмыкнул второй. — Плохи твои дела, Сильвер!

— Ну, Капитан Смоллет, — возмутился Сильвер, — задница есть задница, насколько я знаю, и ничего больше, однако мы не в заднице, и я не вижу причин вести тут беседы на темы морали.

— Ах, ты чертов пройдоха, — ответил Капитан.

— Да, ладно, кэп, прям так уж, — парировал Сильвер. — Честно говоря, у вас нет причин на меня злиться. Я в этой истории в своем образе. На самом же деле меня не существует.

— Ну, меня тоже не существует, — ответил Капитан, — но это дела не решает.

— Не вижу причин, почему бы у такого добродетельного персонажа, как вы, не было разных соображений по этому поводу, — ответил Сильвер, — а я в этой повести злодей, таковой и есть, но как мо-

ряк моряку скажите — каковы мои шансы, хотел бы я знать?

— Тебя никогда не учили катехизису? — спросил Капитан. — Разве ты не знаешь, что существует такая вещь, как Автор?

— Такая вещь, как Автор? — насмешливо возразил Джон. — Да кто ж знает это лучше меня? Однако, суть в том, что если он создал вас, он создал и Долговязого Джона, создал Хэндса и Пью, и Джорджа Мэрри, и не то, чтобы этот Джордж уже перебор, но для меня это не просто имя¹, и он создал Флинта, и что из этого вышло? Он замутил весь этот мятеж, вы ж сами все видели, и он уложил выстрелом Тома Редрута. И знаете, если это все Автор, пусть воскресит мне Пью!

— Так ты не веришь в другое будущее? — спросил Смоллет. — Думаешь, все ограничено этой бумажной историей?

— В точности не уверен, — ответил Сильвер. — И я не вижу, как это с этой историей связано. А вот что я точно знаю, так это то, что если Автор существует, то я у него любимый персонаж. Он сделал меня более популярным, чем вас. И ему нравится иметь со мной дело. Большую часть времени он держит меня на палубе, костыль и все такое... а вас он оставляет в довольно плачевном состоянии в трюме, где никто вас не видит, да и не хочет видеть, и ничего вам с этим не поделать. Если Автор существует, разрази меня гром, то он на моей стороне, и вы ничего не можете с этим поделать.

— Думаю, он тебя подставляет, — возразил Капитан, но это обвинений с тебя не снимает. Я знаю, что Автор относится ко мне с уважением, я это костыми чувю. Когда мы с тобой толковали там, у двери в каптерку, как ты думаешь, на чьей стороне он был, а, приятель?

— А меня он, думаешь, не уважает? — воскликнул Сильвер. Разве ты не слышал, как я утихомиривал этих бунтарей, Джорджа Мэрри, Моргана и всех прочих не далее, чем в предыдущей главе! Ты ведь должен был что-то об этом слышать и поэтому понять, что именно Автор

¹ В повести Джордж Мэрри становится неформальным лидером шайки пиратов и подстрекает их против Сильвера.

обо мне думает. И давай уж, скажи — ты и впрямь считаешь себя таким добродетельным персонажем, чистеньким как стеклышко?

— Боже упаси! — торжественно заявил Капитан Смоллет. — Я человек, который пытается выполнять свой долг, и почти всегда из этого получается какая-то ерунда. Боюсь, Сильвер, — вздохнул Капитан, — я не слишком популярный человек у себя на родине.

— Вот как, — сказал Сильвер. — И что теперь с вашим продолжением? Хотите оставаться все тем же кэпом Смоллетом и быть не слишком популярным дома? Так, значит? А если так, пусть «Остров сокровищ» таким будет и впредь, разрази меня гром! Я буду Долговязым Джоном², а Пью пусть будет Пью, и мы определенно устроим мятеж. Или вы хотите быть каким-то другим? А если и так, то почему вам становится лучше? А мне, что, делаться еще хуже?

— Послушай, приятель, — ответил Капитан, — я вообще не понимаю, как вышла вся эта история. Разве это можно понять? Как можно представить, что ты и я, которых не существует, должны были придти сюда побеседовать и закурить наши трубки словно в настоящей жизни? И потом, кто я такой, чтобы лезть тут со своими мнениями? Я знаю, что Автор стоит на стороне добра, он мне так и говорил, это ясно просто по тому, как он пишет. И это все, что мне надо знать, а остальное — как сложится.

— Да, действительно, похоже он против Джорджа Мэрри, — задумчиво согласился Сильвер. — Однако, Джордж это в лучшем случае для него немного больше, чем просто имя, — добавил он, оживляясь. — И давайте зададимся вопросом — что есть добро? Я устроил мятеж и был джентльменом удачи, ладно, но клянусь всеми историями на свете, вы не такой святоша, каким кажетесь. Я человек, который легко водит дружбу со всеми, вы это сами признаете, а вы нет, и, судя по некоторым сведениям, вам это дается чертовски тяжело. Так что есть что? Что хорошо, а что плохо? Вы мне и скажите. Вот мы тут стоим, и на это-то вы положиться можете.

² Долговязый Джон — одно из прозвищ Сильвера.



— Никто из нас не идеален, — ответил Капитан. — Этот вопрос веры, приятель. Я пытаюсь исполнять свой долг, и это все, что я могу сказать. И если ты будешь пытаться исполнять свой, я могу лишь пожелать тебе всяческих успехов в твоём деле.

— То есть, таково, значит, ваше суждение, — усмехнулся Сильвер.

— Я мог бы быть для тебя одновременно и судьёй, и палачом, дружище, но и пальцем не пошевелю, — ответил Капитан. — Однако я пойду дальше; это может звучать теологически, но на самом деле это подсказывает нам здравый смысл — добро полезно, или что-то вроде этого, я не настроен мыслить глубже. Ведь как бы могла

развиваться история, если бы не было добродетельных персонажей?

— Ну, раз вы к этому пришли, — ответил Сильвер, — то скажите на милость, как история может начаться, если нет злодеев?

— Да и я почти также думаю, — сказал Капитан Смоллет. — Автор должен сочинить историю, он этого хочет, и для того, чтобы она состоялась, и в ней был реальный шанс существовать такому персонажу, как доктор (к примеру), Автор должен вставить в нее таких людей, как ты и Хэндс. Однако при этом он остается на правительной стороне, поэтому берегись! Эта история для тебя еще не окончена, и впереди тебя ждут опасности.

— На что спорите? — ответил Джон.

— Да мне плевать, — ответил Капитан. — Я просто рад быть Александром Смоллетом, таким, каков он есть, со всеми его недостатками, и я благодарю небо, что я не Сильвер. Однако, чу! Открывается чернильница. По главам!

И в самом деле, в этот момент Автор начал писать следующее:

«Глава 33-я...»



ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ



— Сэр, — воскликнул первый помощник, врываясь в каюту капитана, — корабль тонет!

— Очень хорошо, мистер Спокер, — ответил капитан, — но это еще не повод разгуливать небритым. Пораскиньте на минутку мозгами, мистер Спокер, и вы увидите, что с философской точки зрения в нашем положении нет ничего нового: этот корабль (если ему вообще суждено затонуть) можно сказать просто начал тонуть с тех самых пор, как он был спущен на воду.

— Но это происходит достаточно быстро, — ответил первый помощник, вернувшись уже выбритым.

— Быстро, говорите? — спросил Капитан. — Это довольно странное выражение (если вы пораскинете мозгами) и временами весьма относительное.

— Сэр, — ответил помощник, — я думаю, вряд ли стоит начинать такую дискуссию, когда через десять минут все мы окажемся в рундуке Дэви Джонса¹.

— Резонно говоря, — спокойно ответил Капитан, — нет ничего хуже, чем начинать любую серьезную дискуссию. Шансы на то, что мы умрем прежде, чем прекратим свое существование, всегда очень велики. Вы, мистер

¹ Рундук Дэви Джонса — иносказательное название могилы моряков.

Спокер, не учитываете положение человека, — добавил Капитан, улыбаясь и покачивая головой.

— Меня больше волнует положение корабля, — ответил мистер Спокер.

— Говорите, как хороший служака, — заметил Капитан, кладя руку на плечо первого помощника.

Тут они заметили, что на палубе люди прорвались в винный погреб и стали быстро напиваться.

— Дружище, — сказал Капитан, — во всем этом нет смысла. Вы говорите, через десять минут корабль затонет, и что с того? С философской точки зрения в нашем положении нет ничего нового. В течение всей нашей жизни у нас может лопнуть какой-нибудь кровеносный сосуд, или нас сможет ударить молния, и мы умрем не в течение десяти минут, а за десять секунд, однако это вовсе не мешает нам завтракать или класть деньги в Сберегательный банк. Положа руку на сердце, уверяю вас — я не понимаю, что вас так беспокоит.

К этому времени люди уже напились настолько, что перестали обращать внимание на происходящее.

— Какое печальное зрелище, мистер Спокер, — заметил Капитан.

— И все же с философской точки зрения, или с какой бы там ни было, можно сказать, что они начали напиваться, как только поднялись на борт.

— А я и не думал, что вы следите за моими мыслями, — мягко заметил Капитан. — Однако, продолжим.

Тут в пороховом погребе они заметили старого моряка, раскуривающего свою трубку.

— Боже правый, — воскликнул Капитан, — что это ты творишь?

— Ну, сэр, — ответил просоленный моряк, извиняясь, — они мне сказали, что корабль вроде как тонет...

— Думаешь? — ответил капитан. — С философской точки зрения, в нашем положении нет ничего нового. Наша жизнь, дружище, в любой момент и с любой точки зрения подвержена опасности точно также, как и тонущий корабль. И все же есть при этом у людей такая приятная манера — носить зонтики и галюши, или приниматься за серьезную работу и вести себя в любой ситуации так, как будто они надеются жить вечно. Что же до



моей скромной позиции, то я стану с презрением относиться ко всякому, кто даже на тонущем корабле забудет принять лекарство или завести часы. Это, дружище, недостойное поведение.

— Прошу прощения, сэр, — сказал мистер Спокер, — но в чем именно разница между бритьем на тонущем корабле и курением в пороховом погребе?

— Или деланьем вообще чего-либо в любых возможных обстоятельствах! — воскликнул Капитан. — Весьма убедительно. Дайте-ка мне сигару.

Две минуты спустя корабль взлетел на воздух от славного взрыва.

ДВЕ СПИЧКИ

Однажды в Калифорнии, во время сухого сезона, когда ветер был особенно силен, через лес пробирался путник. Он проехал уже много миль, он устал и был голоден. И он слез со своей лошади, чтобы выкурить трубку. Однако пошарив у себя в кармане, он обнаружил только две спички. Он чиркнул первой, но пламя тут же погасло.

«Ну, замечательно! — подумал путник. — Мне чертовски охота курить, а у меня осталась только одна спичка, да и она наверняка сразу же погаснет. Что может быть хуже! И все же — снова подумал путник — предположим, я зажгу спичку, и она не погаснет, я раскурю свою трубку, а потом выбью ее прямо тут на траву, а трава сухая, словно трут, она же может загореться, и пока я буду обходить вспыхнувший передо мной огонь, он может обогнуть меня и побежит сзади, а потом перекинется на заросли ядовитого дуба¹ прежде чем я смогу до них добежать, и огонь разгорится, а за зарослями я вижу всю обросшую мхом сосну, и она тоже вспыхнет, как свечка, до самой последней своей верхней ветки, и сосна станет похожа на гигантский факел, а ветер как начнет ходить им по сухому лесу, и вспыхнет целый лес! Я уже слышу этот чертов гул огня и вой раздувающего его ветра, и я вижу, как мчусь через этот полыхающий лес, спасая свою шкуру, а пламя догоняет и окружает меня, перескакивая

¹ Ядовитый дуб — народное название одного из видов токсидендрона.



с холма на холм. Я вижу, как этот симпатичный лес полыхает много дней, и животные гибнут в его пламени, и сохнут посевы, и разоряются фермеры, а их дети идут собирать по миру. Какое трагическое будущее зависит от этого момента!»

С этими словами он чиркнул второй спичкой, и она тоже погасла.

— Слава богу! — сказал путник и засунул свою трубку обратно в карман.

БОЛЬНОЙ И ПОЖАРНИК



Однажды в горящем доме оказался больной, и к нему прорвался пожарник.

— Не спасай меня, — воскликнул больной, — спасай тех, кто силен.

— Будьте любезны, скажите, почему это? — поинтересовался пожарник, ведь он был воспитанным человеком.

— Ничто не может быть справедливей, — ответил больной, — сильным надо отдавать предпочтение в любых случаях, ведь от них в мире больше проку.

Пожарный немного подумал, ведь он был человеком, в некотором роде склонным к размышлениям.

— Ладно, — сказал он наконец, когда обвалилась часть крыши, — но скажите, просто чтобы поддержать беседу, что вы полагаете первейшей обязанностью сильных?

— Ничего не может быть проще, — ответил больной, — первейшей обязанностью сильных является помощь слабым.

Пожарный снова задумался, поскольку этот прекрасный человек не терпел суеты.

— Я мог бы простить тебя, за то, что ты болен, — сказал он, когда рухнула часть стены, — но я не могу вынести, что ты такой идиот.



И с этими словами он взмахнул своим топориком пожарного, и уложил им больного на кровать, и он был совершенно прав.



ДЬЯВОЛ И ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ



Однажды дьявол зашел в гостиницу, где о нем никто не слышал, ведь в округе жили люди, которых никто ничему не учил. Дьявол был склонен проказничать, поэтому через некоторое время все стояли на ушах. Однако в конце концов хозяин гостиницы разобрался, в чем дело, и принес длинную веревку.

— Сейчас я вздую тебя, — сказал он дьяволу.

— Ты не можешь на меня сердиться, — ответил дьявол. — Я всего лишь дьявол, и творить зло в моей природе.

— Да неужели? — воскликнул хозяин гостиницы.

— Уверяю тебя, это факт, — подтвердил дьявол.

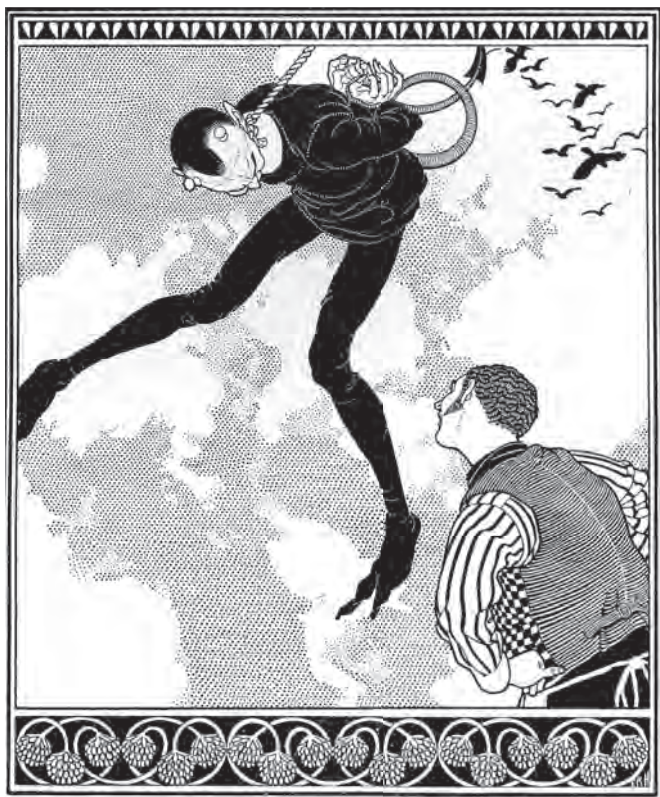
— И ты не можешь не поступать плохо? — спросил хозяин гостиницы.

— Ни в коей мере, — ответил дьявол. — Совершенно бесполезно и жестоко наказывать существо вроде меня.

— И впрямь, — сказал хозяин гостиницы.

Потом он сделал петлю и вздернул на ней дьявола.

— Вот так! — усмехнулся хозяин гостиницы.



КАЮЩИЙСЯ



Однажды человек повстречал рыдающего парня.

— Отчего ты плачешь? — спросил он.

— Я плачу, потому что грешен, — ответил парень.

— Тебе, что, больше нечего делать? — удивился человек.

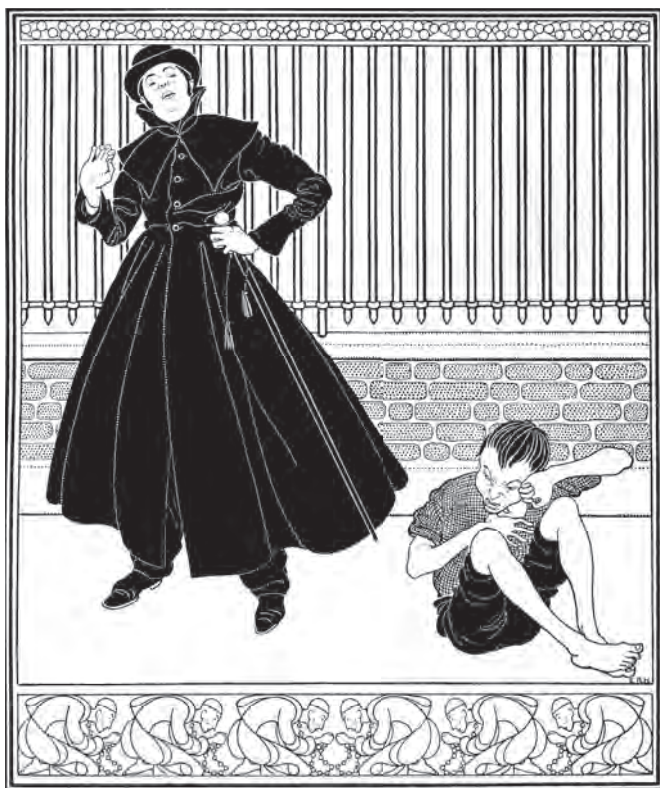
— На следующий день они встретились снова. Парень рыдал еще громче.

— А теперь в чем дело? — спросил человек.

— Я плачу, потому что мне нечего есть.

— Я предполагал, что до этого дойдет, — вздохнул человек.





ЖЕЛТАЯ КРАСКА



В некоем городе жил врач, который продавал желтую краску. Она обладала тем уникальным свойством, что любой человек, выкрашенный ей с головы до пят, избегал всех опасностей жизни, навсегда освобождался от пут грехов и от страха смерти. Так врач писал в своих объявлениях, и так говорили все жители города, и ничто их так их не занимало, как желание выкрасить себя должным образом, и ничто не радовало их больше, чем смотреть, как выкрашены другие.

В том же городе жил один молодой человек из очень почтенной семьи, который вел достаточно беспечную жизнь, и так он достиг зрелости, а до краски ему не было дела. «Завтра, успеется еще», — говорил он, а когда завтра наступало, он снова все откладывал. Он мог продолжать так действовать до конца своих дней, однако у него был друг примерно его возраста и еще более беспечный, чем он сам. И когда однажды этот юноша разгуливая по многолюдной улице без единого пятнышка краски на своем теле, на него внезапно наехала телега водовоза, и жизнь его была оборвана в расцвете лет, ведь он тоже был непокрашен. Этот потрясло молодого человека до глубины души, и я не знал в тот момент



никого, кто более него стремился быть покрашенным. И в тот же вечер, в присутствии всех членов его семьи, под соответствующую музыку и под его собственные громогласные рыдания, он был покрыт краской в три слоя, а сверху еще и залачен. Врач же при этом (который сам был расстроен всей этой историей до слез) утверждал, что еще никогда он не выполнял свою работу так тщательно.

Месяца через два или около того молодого человека принесли на носилках к дому врача.

— Что за дела? — закричал он, как только дверь открылась. — Я должен быть защищен от всех опасностей жизни, а тут на меня наезжает та же самая телега, и теперь у меня сломана нога!

— Дорогой мой, — ответил врач, — это очень печально. Боюсь, я должен объяснить тебе, как действует моя краска. Сломанная кость — наименьшая беда из самых ужасных, она относится к разряду тех несчастных случаев, к которым действие моей краски совершенно неприложимо. Грех, мой дорогой юный друг, прегрешение — вот единственная беда, о которой должен беспокоится мудрый человек. Я защитил тебя от грехов; приди же ко мне и расскажи о действии краски после того, как ты подвергнешься соблазнам.

— Вот как! — сказал молодой человек, — я этого не знал, и все это звучит весьма неутешительно. Однако, я не сомневаюсь, что все к лучшему, и все же я был бы вам признателен, если бы вы занялись моей ногой.

— Это совершенно не мое дело, — ответил врач, — однако если твои носильщики, занесут тебя за угол к костоправу, я уверен, что он тебе поможет.

Через три года или около того молодой человек прибежал к дому врача в страшном волнении.

— Что за дела! — закричал он. — Я должен быть защищен от пут греха, а я только что совершил подлог, поджог и убийство!

— Дорогой мой, — ответил врач, — это уже очень серьезно. Быстро сними свою одежду!

И пока молодой человек раздевался, врач осмотрел его с головы до пяток.

— Нет! — вздохнул он с большим облегчением, — ничего не облупилось! Бодрись, мой юный друг — твоя краска как новенькая!

— Боже правый! — воскликнул молодой человек. — А что толку!?

— Ну, — протянул врач, — чувствую, я должен растолковать тебе принцип действия моей краски. Она не столько предотвращает грехи... Вместо этого она смягчает их болезненные последствия. Пока все не так страшно, худшее впереди. Короче, краска не столь охраняет жизнь... Я хотел защитить тебя от смерти. Расскажи мне о ее действии, когда ты будешь на ее пороге.

— Вот как! — сказал молодой человек, — я этого не знал, и это звучит весьма неутешительно. Однако, я не сомневаюсь, что все к лучшему, но я был бы вам призна-

телен, если бы вы помогли мне исправить все то зло, которое я причинил ни в чем не повинным людям.

— Это совершенно не мое дело, — ответил врач. — Однако, если ты зайдешь за угол в полицейский участок и сдашься, я совершенно уверен, что это тебе поможет.

Через шесть недель врача вызвали в городскую тюрьму.

— Что за дела! — закричал на него молодой человек. — Я буквально весь обляпан вашей краской, и при этом я сломал ногу, совершил все возможные преступления, и завтра меня должны повесить! И при этом меня всего трясет от страха, когда я это представляю!

— Дорогой мой, — ответил врач, — поистине, это удивительно. Так-так, ну я думаю, если бы ты не был выкрашен, ты был бы напуган еще больше.



ДОМ КОЛДУНА



Как только дети начинал говорить, на них надевали кандалы, и мальчишки с девчонками ковыляли к своим играм, словно каторжники. Без сомнения кандалы на подростках выглядели ужасно, да и носить их было ох как тяжело, однако и взрослые в них часто ходили весьма неуклюже, а ноги у них постоянно бывали в язвах.

Примерно в то время, когда Джеку было десять лет, в его краях появилось множество путников. Он наблюдал, как они с легкостью передвигались по бесконечным дорогам, и это его очень удивляло. «Интересно, как это у них получается? — спрашивал он себя. — С чего все эти незнакомцы двигаются так быстро, а мы со своими кандалами тащимся так медленно?»

— Мой мальчик, — ответил ему его дядя, который был церковным наставником, — не стоит жаловаться на свои кандалы, ведь это единственное, что делает нашу жизнь стоящей. Никто не счастлив, никто не хорош, никто не добропорядочен, если не скован, как мы. И помимо этого, я должен сказать тебе, что это опасная тема. Если ты начнешь ворчать по поводу своего железа, ты не будешь счастлив, а как только ты его снимешь, тебя в тот же момент поразит удар молнии.

— А чего этих путников не поражает? — поинтересовался Джек.

— Юпитер долготерпелив к заблудшим, — ответил дядя.

— Честное слово, — ответил Джек, — хотел бы я быть менее удачливым, ведь если бы я был рожден заблудшим, я бы мог освободиться; нельзя же отрицать, что это железо неудобно, да и язвы болят...

— Вот как? — воскликнул дядя. — Не завидуй варварам. Печальна их участь! О, несчастные души! Если бы только они познали радость быть скованным! Бедные души, мое сердце скорбит по ним. Правда в том, что они мерзкие, отвратительные, наглые, неухоженные вонючие скотины, да и не люди они вовсе, ибо что человек без оков? И ты не какой-то там особенный, чтобы прикасаться к ним или разговаривать с ними.

После этой беседы Джек уже никогда не проходил мимо нескованного на дороге без того, чтобы не плюнуть в него и не обозвать всякими словами. Так обычно поступали и прочие дети в том краю.

Однажды, когда ему было уже пятнадцать, он пошел в лес, и язвы у него болели особенно сильно. Был прекрасный день, небо было голубым, все птицы распевали, а Джек растирал свою ногу. И вдруг в это время он услышал другую мелодию. Похоже, это пел человек, причем пел очень весело, и еще Джек слышал какой-то топот. Он раздвинул кусты и увидел парня из своей деревни. Он подпрыгивал, танцевал, и пел в роще, а на траве рядом с ним лежали его кандалы.

— Ого! — воскликнул Джек. — Ты их скинул!

— Бога ради, не говори своему дяде, — взмолился парень.

— Если ты боишься моего дядю, почему ты не боишься удара молнии? — спросил Джек.

— Это все бабушкины сказки, — ответил парень. — Их рассказывают только детям. Многие из нас приходят сюда в лес и пляшут ночь напролет среди деревьев, и ничего такого плохого не происходит.

Это вызвало у Джека тысячу новых вопросов. Однако, он был серьезным парнем, и у него и в мыслях не было самому выплясывать; поэтому он продолжал мужественно носить свои кандалы и лечил свои язвы, не жалуясь. Тем не менее, ему не нравилось, когда его вводили в

заблуждение или когда обманывали других. И он начал подкарауливать этих варварских путников на скрытных участках дорог, чтобы в сумерках поговорить с ними никем не замеченным, и те часто говаривали со своим задающим вопросы попутчиком и рассказали ему много важных вещей. По их словам таскание вериг вовсе не было повелением Юпитера. Это была придумка белолицего создания, колдуна, который обосновался в том краю в Лесу Древних. Этот колдун был подобен мифическому Главку, который мог менять свой облик. Поговаривали также, что он может кулдыкать по-индюшачьи, и лучше с ним не встречаться. У него три жизни, и если оборвать последнюю, с ним будет покончено, и все его чары разрушатся, оковы спадут, и селяне возьмутся за руки и будут танцевать, как дети.

— А как там с этим в ваших краях? — интересовался нередко Джек.

Однако после такого вопроса путники единодушно его покидали, и вскоре он начал подозревать, что нет такого края, где все были бы счастливы. А если бы таковой и существовал, довольно естественно было предположить, что его жители вряд ли стали слоняться за его пределами.

Однако, он не мог отделаться от этой истории с кандалами. Ковыляющие в них дети стояли у него перед глазами, их стоны и язвы преследовали его. И однажды ему пришло голову, что он рожден для их освобождения.

А а том селении был небесный меч, выкованный на наковальне самого бога Вулкана. Его использовали только во время храмовых церемоний, да и то только плоской стороной, и висел тот меч в доме у церковного наставника на гвозде возле камина. И однажды Джек встал затемно, взял этот меч, вышел из дома и в темноте покинул деревню.

Всю ночь он шел наугад, а с рассветом повстречал идущих полем людей. И он спросил их, где находится Лес Древних и жилище колдуна. И когда один сказал, что надо идти на север, а другой посоветовал держать путь на юг, он понял, что его дурачат. И у кого бы потом он ни спрашивал дорогу, показывая свой обнаженный

сверкающий меч, вместо ответа он слышал лишь позвякивание кандалов на ногах, которые словно бы говорили ему «Прямо, прямо...», а сам же человек в ответ плевал в Джека и бил его, и бросал в него камни, так что один из них пробил ему голову.

Однако в конце концов он дошел до этого Леса и вошел в него, и он знал, что ему надо найти дом в низине, поросшей деревьями и грибами, где болотные испарения поднимаются, словно туман. И Джек нашел его. Дом был еще крепкий, хотя и какой-то несуразный. Некоторые его части были древними, как холмы, а другие казались построенными только вчера, и ни одна не была закончена, и все они были распахнуты, так что зайти в дом можно с любой стороны. Однако все было в приличном состоянии, и из всех труб шел дым.

Джек зашел в дом, пройдя под его фронтоном, далее была вереница комнат, все они были почти пустые, хотя мебель кое-какая для обитания все же стояла, в каждой комнате горел камин, около которого можно было погреться, и в каждой стоял стол, за которым можно было поесть. Джек не заметил внутри ни одной живой души, только порой ему попадались какие-то чучела.

«Ну, что ж, — подумал Джек, — дом вполне сносный, только он на каком-то зыбком основании; при каждом шаге все здание трясется».

Он провел некоторое время в доме, а потом стал чувствовать голод. Посмотрев на найденную еду, Джек сначала опасался ее брать, но потом по сиянию обнаженного меча он понял, что она вполне безопасна. Поэтому он собрался с духом, сел за один из столов поесть, и в результате взбодрился душой и телом.

«Это довольно странно, — подумал он при этом, — что в доме колдуна может быть такая целебная пища».

И пока он ел, в комнате вдруг возник дух его дяди, и Джек испугался — ведь он стащил меч без спроса. Однако дядя был как никогда любезен, и он сел рядом, чтобы вместе потрапезничать и похвалил Джека за то, что тот взял меч. Никогда Джеку не было так хорошо в компании с дядей, и он был полон любви к этому человеку.

— Это хорошо, — сказал дядя, — что ты взял меч и сам пришел в Дом Колдуна, это было хорошо задумано и славно исполнено. Однако теперь ты удовлетворен, и мы можем пойти рука об руку домой, чтобы поужинать.

— Дорогой дядюшка, — ответил Джек, — я все еще не удовлетворен.

— Как! — воскликнул дядя, — разве ты не согрелся у огня, и разве еда не взбодрила тебя?

— Я нахожу еду благотворной, — ответил Джек. — но я все еще не вижу доказательств, что человек должен носить на своей правой ноге кандалы.

При этих словах дядя вдруг кулдыкнул по-индюшачьи.

— Юпитер! — воскликнул Джек. — Так колдун — это ты!

Его руку и сердце удерживала любовь к своему дяде, однако он вскинул свой меч и ударил им по индюшачьей голове, и та громко курдыкнула голосом его дяди, и он рухнул на землю, и небольшое бесплотное белое существо выскользнуло из комнаты.

Этот вскрик все еще звучал в его ушах, колени Джека подогнулись, и совесть в нем возопила, но все же дух в нем был силен, и он от всего сердца возрадовался, что пролил кровь чародея. «Если оковам суждено пасть, я должен через это пройти, — подумал он, — а когда я вернусь домой, то увижу, что мой дядя танцует вместе со всеми».

И Джек пошел вслед за бесплотным существом. По пути ему явился дух своего отца, который возмущался и ругал его, и зывал к совести, и просил поторопиться, и вернуться поскорее домой, пока еще не поздно. «Ты все еще можешь успеть домой до заката, — сказал он, — и тогда все будет прощено».

— Бог знает... — ответил Джек, — Я вижу, что ты зол, однако это не доказывает, что человек должен носить на своей правой ноге кандалы.

При этом дух его отца кулдыкнул по-индюшачьи.

— О, небеса! — воскликнул Джек, — снова колдун!

Вся кровь протестовала в его теле, и все кости зывали к сыновьей любви, но он поднял свой меч, и обру-



шил его на это создание, и оно вскрикнуло голосом его отца, и рухнуло на землю, и бескровный дух вылетел из комнаты.

Этот вскрик стоял у Джека в ушах, и на душе у него было скверно, но потом ярость снова взяла в нем вверх. «Я сделал то, о чем не осмеливался и подумать, — сказал он себе, — и я доведу все это до конца или погибну. И я вернусь домой, и я молю бога, чтобы все это оказалось лишь наваждением, и я смог бы увидеть моего отца танцующим».

Он пошел вслед за улетевшим бесплотным существом, и по пути встретился дух его матери, который начал причитать. «Что ты наделал! — кричала мать. — Что

ты такое натворил! О, вернись домой, ты еще можешь успеть ко времени отхода ко сну и не натворить бед для меня и моих домашних. Достаточно того, что ты погубил моего брата и своего отца».

— Дорогая матушка, — ответил Джек, — я сразил не их, а всего лишь колдуна в их обличье. А даже если это и так, то это объясняет, почему человек должен носить на своей правой ноге кандалы.

И в этот момент дух кулдыкнул по-индюшачьи.

Словно в беспамятстве Джек выхватил свой меч и ударил им прямо в грудь своей матери, и дух громко вскрикнул ее голосом, и тело рухнуло на землю. И как только это произошло, дом позади Джека исчез, а сам он остался стоять один посреди леса, а кандалы спали с его ноги.

«Отлично, — подумал Джек, — теперь колдун мертв, и оковы исчезли». Однако предсмертные крики все еще звучали в его голове, и день казался ему мрачнее ночи. «Ну и грязная же это была работенка, — снова подумал Джек. — Надо мне выбираться из этого леса и взглянуть на благо, которое я всем принес».

Сначала он хотел бросить свои оковы там, где они упали, но когда он уже повернулся, чтобы уйти, в голову ему пришла другая мысль. Поэтому он наклонился, поднял их и возложил себе на грудь. И пока он шел домой, железо на его груди позвякивало, а грудь кровоточила.

Наконец он вышел из леса на большую дорогу и увидел там людей, возвращавшихся с полей, и у всех, кого он встречал, правая нога не была скована кандалами, однако, глядите-ка! — они были у них на левой ноге. Джек спросил у них, что это значит, и люди ему ответили: «Это новая ноша, а старая была признана предрассудками». Он осмотрел их, подойдя поближе, и заметил, что на левой лодыжке у них уже была новая язва, в то время как язва на правой еще не зажила.

— Да простит меня господь! — воскликнул Джек, — Я словно отсюда и не уходил.

И когда он оказался дома, там лежал его дядя с проломленной головой и отец, пораженный в самое сердце, и мать с пронзенной грудью. И он сидел в пустом доме и плакал над этими телами.

Мораль

Дерево старо, но плоды его хороши.
Толстый ствол и ветви могучи.
О, дровосек, ты крепок душой? Берегись!
Корни сплелись вокруг материнского сердца,
Проросли они в кости отца твоего.
Словно у мандрагоры они выдираются с криком.



ЧЕТЫРЕ РЕФОРМАТОРА



Четыре реформатора встретились возле зарослей ежевики. Все они были согласны, что мир должен быть изменен.

— Мы должны отменить собственность, — сказал первый.

— Мы должны отменить брак, — сказал второй.

— Мы должны отменить Бога, — сказал третий.

— Я буду бы рад, если бы нам удалось отменить работу, — сказал четвертый.

— Давайте не будем выходить за рамки практической политики, — сказал первый. — Вначале надо уравнять людей между собой.

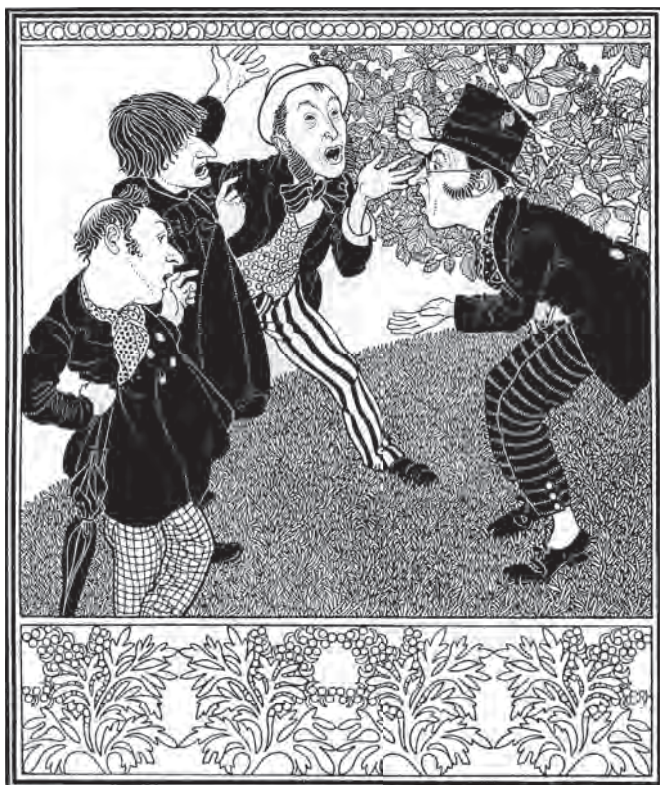
— Первым делом, — сказал второй, — надо сделать свободными отношения между полами.

— Первым делом, — сказал третий, — надо понять, как это сделать.

— Первым делом, — сказал первый, — надо уничтожить Библию.

— Первым делом, — сказал второй, — надо уничтожить законы.

— Первым делом, — сказал третий, — надо уничтожить человечество.



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДРУГ



Человек поссорился со своим другом.
— Я так в тебе обманулся, — сказал мужчина.

А друг состроил ему рожу и ушел.

Вскоре оба скончались и предстали перед великим Мировым Судьей в белоснежных одеждах. Он мрачно взглянул на бывших друзей, но человек не смутился и некоторое время находился в прекрасном настроении.

— У меня тут кое-какие записи о вашей ссоре, — сказал Судья, заглянув в свои бумаги. — Так кто из вас был неправ?

— Он, — сказал человек. — Он сплетничал обо мне за моей спиной.

— В самом деле? — спросил Судья. — А скажи на милость, как он говорил о твоих соседях?

— О, он всегда был мастаком злословить, — ответил человек.

— И ты выбрал его себе в друзья? — воскликнул судья. — Приятель, нам здесь идиоты не нужны!

И человек был брошен в преисподнюю, а его друг расхохотался ему вслед в темноту и остался для разбора прочих своих дел.



ЧИТАТЕЛЬ



— **Н**икогда не читал более нечестивой книги, — сказал читатель, бросая книгу на пол.

— Тебе не стоит меня обижать, — сказала книга, — не находишь, что я только посредник? Не сама же я себя написала!

— Это верно, — сказал читатель. — Я сержусь на твоего автора.

— Да, точно, — ответила книга. — Не стоило покупать эту его белиберду.

— Это верно, — сказал читатель. — Но мне казалось, что он такой веселый писатель...

— Мне так и сейчас кажется, — ответила книга.

— Должно быть, мы с тобой очень разные, — сказал читатель.

— Позволь мне рассказать тебе одну притчу, — сказала книга. — Однажды после кораблекрушения два человека оказались на необитаемом острове. Один из них притворился, что он дома, а другой...

— Ой, да знаю я все эти твои притчи, — сказал читатель. — Оба потом умерли.

— Так оно и случилось, — ответила книга. — Сомнений нет. Все умирают.

— Это верно, — сказал читатель. — Ну, и что там в этой истории было дальше? И когда они умерли...

— Они оказались в руках Божьих, впрочем, как были и ранес.



— По-моему, хвалиться тут нечем! — воскликнула читатель.

— Ну, и кто теперь нечестивец? — ответила книга.
А читатель бросил ее в огонь.

Трясется трус, страшась конца,
Пред грозным образом Творца.



ГОРОЖАНИН И ПУТЕШЕСТВЕННИК

— **П**осмотри вокруг, — сказал горожанин. — Это самый большой рынок в мире.

— Конечно, это не так, — ответил путешественник.

— Ну, может и не самый больший, — сказал горожанин, — зато самый лучший.

— И в этом ты безусловно не прав, — ответил путешественник. — Могу тебе сказать...

Они похоронили незнакомца на закате.



НЕОБЫЧНЫЙ ЧУЖЕСТРАНЕЦ



Однажды на нашу Землю заявился посетитель с одной из соседних планет. В месте своей посадки он был встречен великим мудрецом, который готов был показать ему все на свете.

Сначала они пошли через лес, и чужестранец посмотрел на деревья.

— Что это тут у вас? — спросил он.

— Это всего лишь растительность, — ответил мудрец. — Деревья живые, но совсем не интересные.

— Я об этом ничего не знаю, — сказал чужестранец. — Кажется, у них весьма приятные манеры. Они никогда не разговаривают?

— Они лишены такого дара, — пояснил мудрец.

— И все же мне кажется, я слышу, как они поют.

— Это всего лишь ветер в их листве, — пояснил мудрец. — Я могу рассказать вам, как образуется ветер, это очень интересно.

— Мне бы хотелось узнать, о чем они думают, — не унимался чужестранец.

— Они не могут думать, — сказал мудрец.

— Я об этом ничего не знаю, — сказал чужестранец. — Мне нравятся эти люди, — добавил он, прикоснувшись ладонью к стволу.

— Деревья вовсе не люди, — пояснил мудрец. — Пойдем дальше.



Потом они пошли лугом, на котором паслись коровы.

— Какие грязные люди, — удивился чужестранец.

— Они вовсе не люди, — пояснил мудрец, и он рассказал, что представляют собой коровы с научной точки зрения, но я уже позабыл, что он там говорил.

— Для меня это все едино, — ответил чужестранец, — но скажи, прочему они никогда не смотрят на небо?

— Потому что они травоядные, — объяснил мудрец, — а питание травой, которая не слишком питательна, оставляет мало возможности для прочих дел, поэтому у них нет времени чтобы думать или говорить, или

обозревать окрестности, или поддерживать себя в чистоте.

— Ну, да, — согласился чужестранец. — Без сомнения, это один из способов существования. Однако мне больше нравятся люди с зелеными шевелюрами.

Затем они пришли в город, где на улицах было множество мужчин и женщин.

— Они очень странные люди, — заметил чужестранец.

— Это люди величайшей нации в мире, — пояснил мудрец.

— В самом деле? — удивился чужестранец. — Они совершенно таковыми не выглядят.



ЛОМОВЫЕ ЛОШАДИ И ВЕРХОВАЯ ЛОШАДЬ



Двух ломовых лошадей, мерина и кобылу, привезли на Самоа и пустили на то же самое поле, где на свободе развивалась верховая лошадь. И они весьма опасались к ней подходить, потому что видели — это лошадь верховая, и они предполагали, что она просто не захочет с ними разговаривать. А верховая лошадь никогда не видела таких огромных созданий. «Должно быть, это великие вожди», — подумала она и осторожно к ним подошла.

— Господа, — сказала она, — Я так понимаю, вы из колоний. Разрешите уверить вас в моем нижайшем почтении; я сердечно приветствую вас на этом острове.

Колонисты в недоумении посмотрели на нее и стали переговариваться.

— Кто она вообще такая? — спросил мерин.

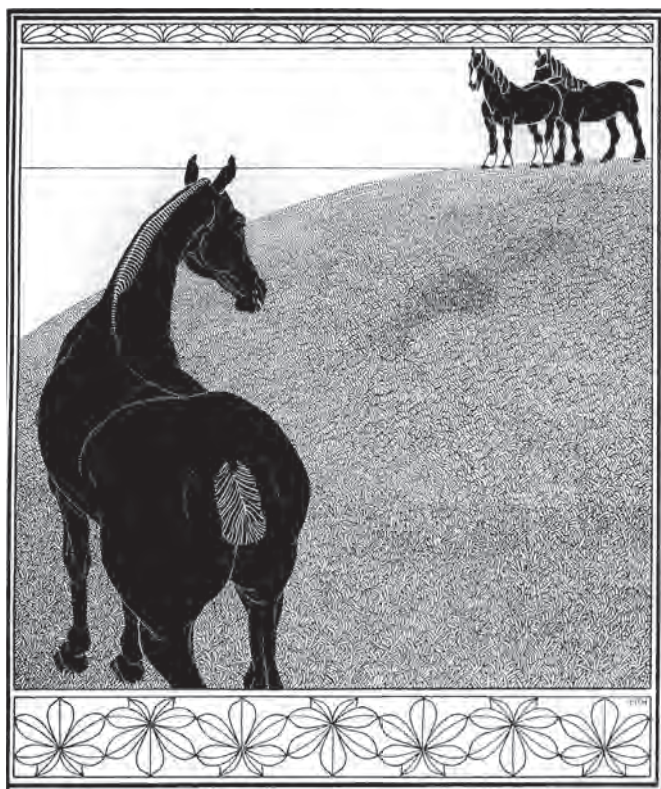
— Какая-то подозрительно вежливая, — заметила кобыла.

— Да уж, пользы от нее в работе не будет никакой, — сказал мерин.

— Впрочем, может она Канака¹, — предположила кобыла.

Затем они обратились к верховой лошади.

¹ Канаки — коренные народы Меланезии.



— Проваливай к черту, — сказал мерин.

— Я удивляюсь, как тебе хватило наглости разговаривать с лошадьми нашего круга! — фыркнула кобыла.

А верховая лошадь отошла и подумала: «Я была права — они великие вожди».



В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ



Туземцы рассказали ему много сказочных историй. Например, они предупредили его о хижине, сплетенной из желтого камыша и скрепленного черными шнурами. Каждый, кто прикасался к ней, сразу же становился жертвой Акаанги, а тот передавал его дьяволице Мирру, чтобы та дала ему каву¹ мертвых и запекла в печи, чтобы он был съеден пожирателями мертвых.

— Ничего в этом нет, враки! — усмехался миссионер.

А на этом острове была бухта; она была очень красива, на нее невозможно было налюбоваться, однако аборигены говорили, что купаться в ней смертельно опасно. «Ничего такого в этом нет», — сказал себе миссионер, и он пошел на берег, и стал плавать в этой бухте. И тут сильное течение подхватило его и понесло прямо на риф. «Ого, — подумал миссионер, — в конце концов, в этом что-то есть». Он поплыл изо всех сил, но течение уносило его. «Да плевать мне на это течение», — сказал себе миссионер, и как только он это подумал, он заметил хижину, стоящую на столбах над водами моря. Она была сплетена из желтых стеблей камыша, и вся прошита чер-

¹ Наркотический напиток, приготовленный из корней опьяняющего перца (*Piper methysticum*), который произрастает на некоторых островах Тихого океана.

ными шнурами, к ее двери вела лестница, и вокруг всего сооружения были привязаны бутылочные тыквы калабасы. Он никогда ранее не видел ни такой постройки, ни таких калабасов, а течение вынесло его напрямиком к лестнице. «Вот это да! — подумал миссионер, — однако, ничего такого в этом нет». И он ухватился за лестницу и поднялся по ней. Хижина казалась весьма славной, но внутри нее не было ни души, и когда миссионер обернулся и посмотрел назад, он увидел, что остров исчез, а вокруг одна только морская зыбь. «Да, странная штука случилась с островом, — сказал он себе, — но не страшно; все, что со мной происходило, заканчивалось хорошо». И он захотел прихватить один из калабасов, потому что этот миссионер был из тех людей, которым нравятся всякие диковины. Однако как только он взял в руку приглянувшийся ему калабас, все, на что он смотрел, и на чем стоял, лопнуло словно пузырь, и тьма поглотила его, и он почувствовал себя рыбой, попавшейся в сети.

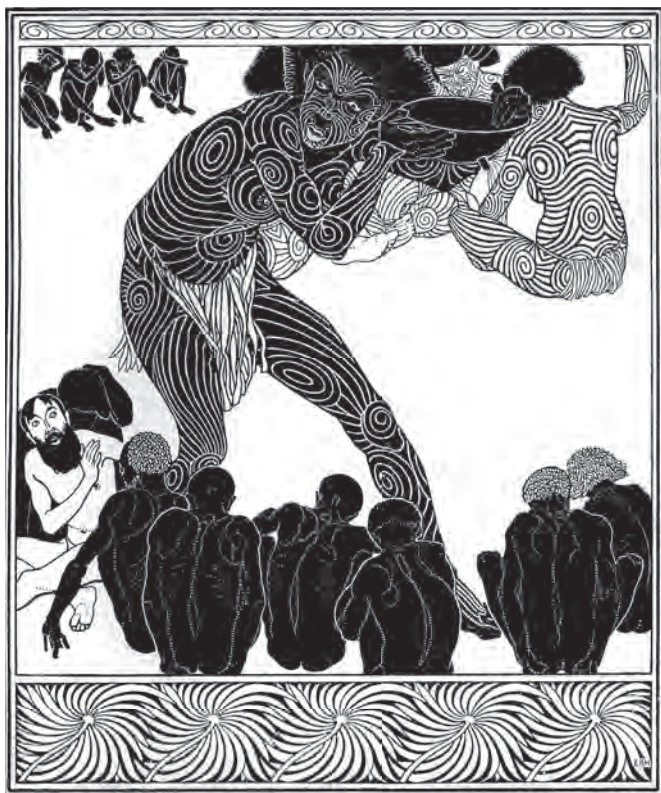
«Иной человек мог бы сказать, что в этом что-то есть, — подумал миссионер, — однако если эти байки про хижину правда, хотел бы я знать, что же со мной случится дальше!»

И тут в ночи возник пылающий факел Акаанги и он стал приближаться к миссионеру. Невидимые руки проникли в ячеи сети, двумя пальцами подхватили миссионера, с которого стекала вода, и понесли его через ночь и тишину к жаровням Мирру. И вот она возникла в отблесках пляшущего в печи огня, и вокруг нее восседали четыре ее дочери, которые делали каву мертвых, а рядом с ними рыдали прибывшие с острова мокрые аборигены.

Это была самое жуткое место, куда только мог попасть сын человеческий. Однако по сравнению со всеми, кто здесь очутился, миссионера это касалось напрямую, и что еще хуже — человек рядом с ним оказался его собственным воплощением.

— Ага, — сказал его двойник, — так ты тут, как и твои соседушки! Что скажешь по поводу всех твоих приключений?

— Кажется, — ответил миссионер со слезами на глазах, — ничего такого особенного в них не было.



К этому времени кова мертвых уже была готова, и дочери Мирру затянули заунывную песню на старинный манер: «Исчезли зеленые острова и блистающее море, солнце и луна, и сорок миллионов звезд, и жизнь, и любовь и надежда. Отныне их больше нет, осталось только сидеть в ночи и молчать, и видеть, как пожирают твоих друзей; потому что жизнь — это обман, повязка спала с твоих глаз».

Когда пение закончилось, одна из дочерей Мирру приблизилась с чашей. И в груди у миссионера разгорелось сильное желание выпить эту кову; он жаждал ее как утопающий жаждает желанный берег, или как жених невесту. И он протянул свою руку, и взял чашу и выпил бы

ее. Однако тут он опомнился и поставил чашу на землю.

— Пей! Нет напитка лучше кавы для мертвых, — заунывно запела дочь Марру. — Выпей! Она станет для твоей жизни наградой.

— Благодарю покорно, — ответил миссионер, — Пахнет чудесно, но я предпочитаю пиво, и, насколько мне известно, в нашем вероисповедании существуют разногласия по поводу этой кавы, а что до меня лично, то я всегда был за то, чтобы к ней не прибегать.

— Что?! — воскликнул двойник, — и ты собираешься соблюдать запреты в такое время, как теперь? А ты ведь был против табу, когда был жив!

— Я это говорил другим людям, а не себе.

— Значит все, что ты говорил, было неправдой? — сказал двойник.

— Похоже на то, — ответил миссионер. — Но тут уж я ничего поделать не могу. Не вижу причин, чтобы нарушать данное себе слово.

— Никогда ничего подобного не слышала! — воскликнула дочь Марру. — О, небо! И чего ты этим собираешься добиться?

— Дело не в этом, — ответил миссионер. — Я говорил о необходимости соблюдать запреты другим, и я не собираюсь давать себе поблажку.

Дочь Мирру была сбита с толку. И она пошла, и рассказала все своей матери, и Мирру была раздосадована, и она пошла к Акаанги и тоже все ему рассказала.

— Ума не приложу, что с этим делать, — сказал Акаанги, и пошел увещевать миссионера.

— Несмотря ни на что, — ответил тот, — в мире существуют правильные и неправильные вещи, и ваши жаровни этого не изменят.

— Дайте каву остальным, — приказал Акаанги дочерям Мирру, — а я должен немедленно избавиться от этого морского адвоката, иначе будет худо.

В следующее мгновение миссионер очутился посреди моря, и перед ним возникли пальмы его острова. Он спокойно доплыл до него и выбрался на берег. В голове у него роилось множество мыслей.

«Кажется, некоторые мои позиции подверглись некой трансформации, — подумал он. — Похоже, ничего такого в этом нет, но все же, в этом что-то есть. И я, пожалуй, буду этому рад.

И он позвал на помощь.

Мораль

Балки крушатся, разбиваются камни,
Древний алтарь кренился и падает,
Запреты и сказки тают, как дым
Лишь проповедник стоит, как скала,
Из века в век он страж истины.



ГОЛОВАСТИК И ЛЯГУШКА



— **С**тыдись! — сказала лягушка головастику. — Когда я была головастиком, у меня не было хвоста!

— Так я и думал, — ответил головастик. — Ты никогда не была головастиком.





ВЕРА, ПОЛУВЕРА, ОТСУТСТВИЕ ВЕРЫ



Жили в стародавние времена три человека, которые стали паломниками; один из них был священником, другой добродетельным парнем, а третий был бродягой с топором.

По дороге священник начал разговор об основах веры.

— Доказательства нашей веры мы находим в окружающей природе, — сказал он, ударив себя в грудь.

— Это верно, — поддакнул добродетельный человек.

— У павлина мерзкий голос, — продолжил священник. — Так об этом пишут в наших книгах. Однако это замечательно, — чуть не всхлипнул он от восторга, — и очень утешительно!

— Мне таких доказательств не надобно, — ответил добродетельный человек.

— Тогда твоя вера безосновательна, — заметил священник.

— Величие в правде, и она восторжествует! — воскликнул добродетельный человек. — Я храню верность вере в своей душе, и будь уверен, она крепче, чем у Одина.

— Это всего лишь игра слов, — возразил священник, — целый мешок такого словоблудия ничто по сравнению с павлином.



В это время они проходили мимо сельской фермы, где на штакетнике сидел павлин, и вдруг он открыл свой клюв и запел, как соловей.

— Ну, что теперь скажешь? — спросил добродетельный человек. — А я вот не поражен, ибо величие в правде, и она восторжествует.

— Черт бы побрал этого павлина, — буркнул священник. Милю или две он подавленно молчал.

Затем они пришли к храму, где Факир творил свои фокусы.

— Вот, — воскликнул священник, — вот где истинная основа нашей веры, павлин не в счет.

При этом он ударил себя в грудь и издал стон, словно у него были колики.

— Меня это также не убеждает в той же мере, как и павлин, — возразил добродетельный человек. Я верю, потому что величие в правде, и она восторжествует! А этот Факир может фокусничать до скончания веков, весь этот блеф не для такого человека, как я.

Факир был так возмущен этими словами, что у него задрожали руки, и — смотрите-ка! — в самый кульминационный момент у него из рукава выпала спрятанная там карта.

— Ну, что теперь скажешь? — спросил добродетельный человек. — А меня это почему-то не поражает.

— Черт бы побрал этого Факира, — воскликнул священник. — Честно говоря, я больше не вижу смысла в нашем паломничестве.

— Взбодрись, — ответил добродетельный человек. — Величие в правде, и она восторжествует!

— Если ты совершенно уверен, что восторжествует, — проворчал священник.

— Слово даю, — ответил добродетельный человек.

И его компаньон продолжил путь с легким сердцем.

Однако тут к ним подбежал какой-то человек и сообщил, что все пропало — что силы Тьмы осадили Небесные Чертоги, и что Один должен умереть, и что дьявол торжествует.

— Как я ужасно обманывался! — воскликнул добродетельный человек.

— Теперь все пропало, — вздохнул священник.

— Я вот думаю, может еще не поздно примириться с дьяволом? — спросил добродетельный человек.

— Надеюсь, что нет, — ответил священник. — В любом случае, мы можем попробовать. А что это ты делаешь со своим топором? — спросил он бродягу.

— Я собираюсь умереть вместе с Одним, — ответил тот.



ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ



Король был человеком, который умел преподносить себя окружающим, его улыбка была сладка, как мед, однако душа у него была мелка, как горох. У него было два сына, младший был отрадой для его сердца, а старшего Король опасался. И случилось однажды, что что барабаны тревожно забили еще до рассвета, и король выехал со своими двумя сыновьями, а позади них шло огромное войско. Они ехали два часа и подошли к подножию бурой горы, которая была очень крута.

— Куда мы направляемся? — спросил старший сын.

— Через эту бурюю гору, — сказал Король, усмехнувшись в глубине души.

— Мой отец знает, что делает, — сказал младший сын.

И они ехали еще два часа и подошли к берегу черной реки, которая была удивительно глубока.

— И куда мы теперь направимся? — спросил старший сын.

— Через эту черную реку, — сказал Король, усмехнувшись в глубине души.

— Мой отец знает, что делает, — сказал младший сын.

И они ехали целый день, и перед закатом подъехали к озеру, на берегу которого стояли огромные чертоги.

— Мы ехали сюда, — сказал Король, — в Королевский дом и дом священника; в дом, где вы научитесь многому.

У ворот дома их встретил Король, который был одновременно священником. Вид у него был внушительный, рядом с ним стояла его дочь, и она была прекрасна, как утро, и она улыбалась, опустив глаза доле.

— Вот мои два сына, — сказал первый Король.

— А это моя дочь, — ответил Король-священник.

— Она чудесная юная дева, — сказал первый король, — и мне нравится, как она улыбается.

— А твои парни уже взрослые, — заметил второй король, — и мне нравится их серьезность.

А потом оба короля посмотрели друг на друга и подумали: «Из этого должно что-то получиться».

И в это же время оба парня посмотрели на девицу, и один побледнел, а другой покраснел, а она по-прежнему смотрела в пол и улыбалась.

«Вот девица, на которой я женюсь, — сказал себе старший. — Думаю, она улыбается мне».

Однако младший потянул своего отца за рукав и шепнул ему:

— Отец, если я заслужу твое расположение, не мог бы я жениться на этой девице, потому что мне думается, она улыбается мне.

— Твое слово, — ответил его отец Король. — Ожидание — славное развлечение, особенно когда держишь язык за зубами.

А потом они вошли в чертоги и устроили пир, и юноши дивились окружавшей их роскоши, а Король, который был священником, сидел на скамье и был молчалив, и юноши были исполнены к нему благоговения, а юная дева прислуживала им, опустив глаза доле, и сердца их трепетали.

И еще до следующего дня старший сын нашел деву за ткацким станком, ибо это была старательная девушка.

— Дева, — гаркнул он, — я бы с радостью женился на тебе.

— Ты должен поговорить с моим отцом, — ответила она, улыбнулась, потупя взор, и покраснела, как роза.

«Ее сердце принадлежит мне», — сказал себе стар-

ший сын. И он спустился к озеру и запел там от счастья.

Немного погодя к девушке пришел и младший сын.

— Дева, — сказал он, — если наши отцы договорятся, я бы с удовольствием женился на тебе.

— Ты можешь поговорить с моим отцом, — ответила она, потупила взор, улыбнулась и покраснела, как роза.

«Она послушная дочь, — подумал младший сын, — и она станет послушной женой». А потом он спросил себя: «Как же мне следует поступить?». И тут он припомнил, что Король, отец девушки, является еще и священником, поэтому он пошел в храм и принес туда в качестве жертвоприношения ласку и зайца.

Тем временем дела шли своим чередом, и два юноши вместе с их отцом Королем были приглашены на аудиенцию к Королю, который был еще и священником. Сидя на возвышении, он сказал вошедшим:

— Мало что мне нужно, и силы мои на исходе. Ведь мы живем в этом мире лишь среди теней вещей, и сердце мое скорбит об этом. И мы трепещем тут на ветрах жизни, как хламиды, а сердце устает от этого ветра. Однако правда в том, что на свете есть одна вещь любезная мне, и за нее я готов отдать свою дочь, а вещь та — пробный камень. Ибо в свете этого камня все кажущееся исчезает, а все сущее предстает, а все прочее никчемно. Поэтому тот из вас сможет жениться на моей дочери, кто принесет мне такой камень, ибо такова цена за нее.

— Между нами, — тихонько сказал младший сын своему отцу, — я думаю, мы сможем прекрасно обойтись и без этого камня.

— Между нами, — ответил его отец, — я тоже так думаю, однако держи язык за зубами.

При этом он улыбнулся Королю, который был еще и священником.

— Думаю, я все же поеду на поиски, — сказал младший сын, — если получу твое благословение, потому что сердце мое принадлежит этой деве.

— Ты поедешь домой вместе со мной, — ответил его отец.

А старший сын поднялся и назвал Короля, который был еще и священником, своим отцом и сказал ему: — Независимо от того, женюсь я на твоей дочери или нет, я

стану называть тебя так из-за любви к твоей мудрости, а теперь я поеду искать для тебя пробный камень.

И, сказав так, он попрощался и ускакал.

— Думаю, я бы тоже поехал, — сказал младший сын, — если ты меняпустишь, потому что сердце мое трепещет, когда я думаю об этой деде.

— Ты поедешь домой вместе со мной, — ответил на это его отец.

И вот они поехали домой, и когда приехали в свои чертоги, Король отвел своего сына в сокровищницу.

— Здесь лежит пробный камень, который показывает правду, — сказал Король, — ибо нет правды, кроме истины, и если ты посмотришь на него, то увидишь, каков ты есть.

И младший сын заглянул в сундук, и увидел там лицо безбородого юноши, и он был вполне рад увиденному, ведь в сундуке лежал кусок зеркала.

«Не такая это уж великая штука, — сказал он себе, — однако, если с ее помощью мне достанется девица, я жаловаться не стану. А мой братец такой дурак, что отправился в мир на поиски пробного камня, а вещь-то эта, оказывается у нас дома!»

И он поехал вместе со своим отцом к чертогам на озере, и показал зеркало Королю, который был еще и священником, и когда тот посмотрел в него, то увидел себя Королем, и он увидел, что дом его — Королевский дворец, и все вещи в зеркале были, как в жизни. И тогда он вскрикнул от радости и благословил Господа.

— Теперь я воистину знаю, — сказал он, — что нет правды, кроме истины, и я истинный Король, хотя мое сердце могло и обманывать меня.

И он разрушил свой старый храм, а на его месте построил новый, еще лучше прежнего, а младший сын женился на красавице.

Тем временем старший сын разъезжал по свету, чтобы найти пробный камень испытания истины; и всякий раз, когда он приезжал в какое-нибудь место, он спрашивал людей, не слышали ли они о таком камне. И в каждый раз люди ему отвечали: «Мы не только слышали о таком, но мы и единственные из всех, у кого такая вещь есть, она и по сей день висит у нас рядом с ками-



ном». И каждый раз старший сын радовался и просил позволения взглянуть на эту вещицу. Порой это оказывался кусок зеркала, который показывал вещи, как они есть. И тогда он говорил себе: «Это совсем не то, ибо пробный камень не должен просто показывать, что видишь». А порой это был кусок угля, который ничего не показывал, и тогда он говорил себе: «Это совсем не то, ибо пробный камень должен показывать хоть что-то». А иногда он и впрямь находил пробный камень, красивого оттенка, весь такой отполированный, с поблескивающими краями, в которых отражалось солнце. И когда он находил такой камень, он просил, чтобы ему дали эту вещь, и селяне охотно ее давали, ибо они были щедры-

ми людьми и любили делать подарки, так что в конечном итоге его дорожная сума была полна такими камнями, и когда он скакал, они позвякивали, ударяясь друг о друга, и он часто останавливался у края дороги, вытаскивал их и пробовал — работают ли они, пока у него голова не шла кругом от этого дела.

— Холера побери это дело! — ругался он в сердцах. — Конца этому нет. У меня тут и красный, и синий и зеленый камни, и по мне так они все хороши, хотя один другого не лучше. Вот холера! Если бы я не дал слово Королю, который священник, и не назвал его своим отцом, и если бы не эта прелестная дева в чертогах, которая заставляет мое сердце так биться, зашвырнул бы я эти камни в соленое море, вернулся бы домой и был бы Королем, как все прочие.

Однако он напоминал охотника, который однажды увидел оленя в горах, и поэтому теперь, несмотря на падающую тьму и согревающий огонь в камине, и призывные огни родного дома, имеет в душе лишь одно желание — добыть этого оленя.

И вот после многих лет странствий старший сын пришел на берега соленого моря, а дело было ночью, и местность там была дикая, и море громко шумело. И он увидел хижину, в которой сидел какой-то человек при свече, ибо камина в хижин не было. И старший сын подошел к нему, а человек дал ему лишь воду, поскольку у него не было хлеба. А когда старший сын с ним заговорил, тот лишь покачал головой, не говоря ни слова.

— У тебя есть пробный камень истины? — спросил старший сын, а человек в ответ лишь снова покачал головой. — Я бы хотел это знать, — воскликнул старший сын, — У меня их здесь целая сума!

При этом он рассмеялся, хотя сердце его уже устало от этих поисков.

А человек рассмеялся в ответ, и от этого его свеча погасла.

— Поспи, — сказал человек, — я думаю, на сей раз ты забрел слишком далеко, твои поиски закончены, а моя свеча погасла.

А наутро человек вложил ему в руку обыкновенную гальку, и в ней не было ни красоты, ни радости. Старший

сын глянул на нее презрительно и лишь покачал головой. И он ушел, не сказав ни слова, ибо это показалось ему делом ничемным.

Он скакал целый день, и ум его был спокоен, а желание дальнейших поисков исчезло. «В конце концов, может эта несчастная галька и есть пробный камень?» — подумал он наконец. И он слез с лошади, и вывалил все одержимое своей дорожной сумы на обочину дороги. И теперь все собранные им камни потеряли свой блеск и красоту, и выглядели как бледные звезды на утреннем небе, однако галька сохранила свою природную красоту и по сравнению с прочими камнями казалось теперь самой яркой. Этот поразило старшего сына в самое сердце. «Так может это правда?! — подумал он, — и остальные камни тут ни при чем!» И он поднял гальку, и обратил ее свет к небесам, и они разверзлись над ним наподобие ямы, а он направил гальку на холмы, и холмы сначала остались неподвижными и суровыми, а потом все живое сбегало с их склонов, и он узрел их безжизненными, а потом он направил гальку на прах земной и узрел в нем радость и силу, а потом он обратил ее на себя и пал на колени, и вознес молитву.

— Славься, Господь наш всемогущий, — сказал старший сын. — Я нашел пробный камень, и теперь я могу обратить стопы свои вспять, и вернуться к Королю и к деве в чертогах, что заставляяет мое сердце биться так часто.

И вот пришел он к чертогам, и увидел детей, которые играли у ворот, где много лет назад встретил его Король, который был священником, и он остановился и залюбовался этим зрелищем и подумал: «Так здесь могли бы играть и мои дети». И когда он вошел в тронный зал, то увидел своего брата на возвышении и красавицу рядом с ним, и гнев поднялся в его душе, ибо он подумал: «Это я должен сидеть там, и эта красавица должна быть подле меня».

— Кто ты? — спросил его брат, — и что ты делаешь в этих чертогах?

— Я твой старший брат, — был ответ, — и я пришел жениться на деве, ибо я принес пробный камень.

На это младший брат громко расхохотался: «Да ну? — сказал он, — это я нашел пробный камень много

лет назад, и это я женился на деве, и наши дети играют теперь там, у ворот.

При этих словах старший брат стал мрачнее тучи.

— Я молюсь, чтобы справедливость восторжествовала, — сказал он, — иначе моя жизнь кончена.

— Справедливость? — выкрикнул младший брат. — Худо тебе придется, нищий бродяга, если ты сомневаешься в моей справедливости, ведь мой отец Король, повелитель здешнего народа, и все хорошо его знают.

— Вовсе нет, — ответил старший брат, ибо если ты имеешь все на свете, имей и терпение, и позволь мне сказать, что в мире множество пробных камней, и трудно понять, какой истинный.

— Мне своего стыдиться нечего, — ответил младший брат. — Вот он, взгляни-ка на него!

И старший брат взглянул в зеркало, и он был глубоко удивлен, ибо увидел там глубокого старика, чьи волосы были седые, и он опустился на пол и громко зарыдал.

— Ну, — сказал младший брат, — теперь ты видишь, какого дурака ты сваял, бегая по всему свету в поисках того, что лежало в сокровищнице нашего отца, и ты вернулся сюда как убогий нищий, на которого лают собаки, и остался без девчонки и без детей, а я сижу тут коронованный всеми добродетелями и удовольствиями жизни, и веселюсь до глубины души.

— Сдается мне, что все это кривда, — сказал старший брат. И он вытащил свою гальку и направил ее свет на своего брата, и поскольку тот был лжецом, душа его оказалась сжатой до размера самой мелкой горошины, а его сердце предстало переполненным страхами, похожими на скорпионов, и любовь лежала мертвой в его груди. При этом старший брат громко вскрикнул от ужаса и направил гальку на женщину, и вот! — она оказалась лишь маской, а внутри она была давно мертвой, и она улыбалась, словно кукла, сама не зная чему.

— Ну, ладно, сказал старший брат. — Теперь я вижу, что в мире есть и добро, и зло. Оставайтесь тут, в этих чертогах, и живите, как сможете, а я пойду в мир со своей галькой в кармане.

БЕДНЯЖКА



Жил однажды на островах человек, который рыбачил ради живота своего, и каждый день он брал свою жизнь в свои руки, пускаясь по морю на четырех досках. И хотя от него порой бывало много хлопот, он был весельчаком по натуре, и когда волны швыряли в него свои брызги, чайки слышали его искренний смех. Познаний у него было немного, но душа его пела, и когда рыба в глубине моря попадалась на его крючок, он благодарил Господа, не взвешивая улов. Он был очень беден, и уродлив, и у него не было жены.

Это случилось, когда наставало время рыбалки. Человек проснулся в своей хижине примерно около полудня. Посреди горел огонь, и дым улетал вверх, а сверху на очаг падали лучи солнца. И человеку показалось, что ему знаком тот, кто грел руки у краснеющих угольев.

— Приветствую тебя во имя Господа, — сказал человек.

— И я приветствую тебя, — сказал тот, что грел руки, — однако, не во имя Господа, потому что я не от него, но и не во имя Ада, потому что я не оттуда. Я лишь бестелесное существо, легче дуновения воздуха и легче звука, ветер струится через меня, как через рыбацкую сеть, и я страдаю от звуков и меня трясет от холода.

— Доверься мне, — сказал человек, назови мне свое имя и расскажи, кто ты таков.

— Мое имя пока не названо, — ответил тот, — а моя природа пока не ясна. Я часть человека, и я был частью твоих предков, и я ходил рыбачить и сражаться вместе с ними в стародавние времена. Однако нынче моя очередь еще не пришла, я жду, пока у тебя появится жена, и тогда я стану частью твоего сына, притом частью отважной; я буду радоваться вместе с ним, когда он мужественно будет спускать лодку на воду или крепко держать рулевое весло, или когда кольца цепи будут сжиматься под ударами его молота.

— Странно слышать такие вещи, — воскликнул человек, — однако, если ты собираешься стать частью моего сына, то, я боюсь, плохи твои дела, ибо я беден до ужаса и ужасен лицом, и мне точно не обзавестись женой, даже если бы я жил долго, как черепаха.

— От всех этих напастей я пришел избавить тебя, Отец мой, — сказал Бедняжка, — и для этого сей же ночью мы должны отправиться на маленький остров, где пасутся овцы, и где наши отцы лежат под могильными пирамидами из камней, а наутро мы придем в город к Графу, и там моими стараниями ты найдешь себе жену.

Тогда человек встал и на закате спустил свою лодку на воду, а Бедняжка пристроился у нее на носу, и брызги летели сквозь его кости, как снег, и ветер посвистывал у него промеж зубов, и лодка качалась на волнах, не чувствуя его веса.

— Странно мне глядеть на тебя, сынок, — заметил человек. — Сдается мне ты не божье создание.

— Не бойся, — ответил Бедняжка, — это лишь ветер посвистывает у меня промеж зубов, а так во мне жизни нет, и вылететь она не может.

И вот они прибыли на маленький островок, где паслись только овцы, и волны бились вокруг него посреди моря, и был он весь зеленым от разросшихся папоротников, и мокрым от росы, и был залит лунным светом. Они завели лодку в бухту и сошли на берег, и человек тяжело ступал, раздвигая густые заросли папоротников и обходя камни, а Бедняжка двигался перед ним, словно дымок в лунном свете. И они подошли к пирамиде из камней, и каждый при-

ложил к камням свое ухо, и услышали, как мертвые жаловались внутри, гудя, как пчелиный рой: «Было время, когда в наших костях текла кровь, и сила была в наших жилах, и мысли в наших головах рождали действия и людские слова. Но теперь мы повержены и разъяты, кости наши расчленены, и мысли наши обратились в прах».

И тогда Бедняжка сказал: «Проси, чтобы они дали тебе достояние, которое они сохранили».

И тогда человек сказал следующее: «О, кости моего отца, приветствую вас, ибо я плод ваших чресел. И ныне, узрите, вскрываю я эту пирамиду камней над вами и впускаю полночь меж ваших ребер. Посчитайте, что это сделано, как должно, и дайте мне, что я пришел искать, во имя крови и во имя Господа».

И духи мертвых зашевелились под пирамидой, словно муравьи и зашептали: «Ты раскрыл свод нашей каменной могилы и впустил полночь меж наших ребер, и у тебя есть сила живущих, но какое достояние есть у нас? Какая сила? И какую ценность тщишься ты найти здесь среди нашего праха, какую мог бы получить живой, или какой мог бы жаждать? Меньше, чем ничего. Однако, мы скажем тебе кое-что, жужжа на разные голоса, словно пчелы — дорога ясна и пряма для всех, как пушечный ствол. Двигайся вперед по жизни без страха, ибо так поступали мы в прошлые времена». И голоса исчезли, словно круги на воде.

— Они преподали тебе урок, — сказал тогда Бедняжка, — теперь пусть преподнесут тебе подарок. Опусть руку и положи среди костей, не отдергивая, и ты найдешь свое сокровище.

И человек опустил свою руку, и мертвые облепили ее, словно сотни муравьев, а он стряхнул их, поднял руку и увидел, что они оставили в ней лошадиную подкову, и подкова та была ржавой.

— Эта штуковина ничего не стоит, — заметил человек. — К тому же она ржавая.

— Увидим, — сказал Бедняжка. — Мне кажется правильно делать то, что делали наши предки и хранить то, что хранили они, не задавая вопросов. По моему соображению одна вещь стоит другой в этом мире, и подкова тоже подойдет.

И вот они сели в свою лодку с подковой, и когда рассвело, они увидели дымы графского города и услышали звон его церковных колоколов. И они ступили на берег, и человек в толпе рыбаков пошел к рынку, который находился подле дворца и церкви, и был он ужасно беден и ужасен с виду, и не было у него на продажу рыбы, и в его корзине лежала только подкова, да и та была ржавая.

— Теперь, — сказал Бедняжка, поступай так-то и так-то, и ты найдешь себе жену, а я — мать.

А в это время дочь Графа направлялась в церковь для молитвы, и когда она увидела бедняка, который стоял на рыночной площади с одной лишь подковой, да к тому же еще и ржавой, ей пришло на ум, что, должно быть, это ценная вещь.

— Что это у тебя? — спросила она.

— Подкова, — ответил человек.

— И зачем она? — спросила графская дочь.

— Ни зачем, — ответил человек.

— Что-то мне не верится, — ответила девушка, — иначе зачем ты ее сюда принес?

— Я это сделал потому, — ответил человек, — что так делали мои предки в стародавние времена, ни меньшей, ни большей причины у меня нет.

Однако графская дочь не могла в это поверить. — Давай, — сказала она, — продай мне ее, я уверена, что это ценная вещь.

— Нет, ответил человек. — Эта вещь не на продажу.

— Вот как! — воскликнула графская дочь, — так тогда чего ты тут делаешь на городском рынке с одной подковой в корзине?

— Я сижу здесь, — ответил мужчина, — чтобы раздобыть себе жену.

«Во всех этих ответах нет никакого смысла, — подумала графская дочка, — и вся эта история мне не нравится».

После этого на площадь пришел и сам Граф, и его дочь все ему рассказала. И когда он выслушал ее, то тоже, как и дочь, подумал, что эта вещь должна обладать каким-то достоинством, и он повелел, чтобы человек назначил для нее цену, а в противном случае его вздернут



на виселице, а виселица эта стояла тут же на площади, и человек мог ее видеть.

— Жизненный путь должен быть прямым, как ствол пушки, — сказал человек, — и если мне суждено быть повешенным, так тому и быть.

— Как! — воскликнул граф, — и ты готов сунуть шею в петлю ради подковы, да к тому же еще и ржавой?

— По моему соображению одна вещь стоит другой в этом мире, и подкова тоже подойдет, — ответил человек.

«Такого еще не бывало», — думал Граф, смотря на человека и теребя свою бороду.

А человек смотрел на него и улыбался в ответ.

— Так делали мои предки в стародавние времена, — сказал он Графу, — и у меня нет причины поступать ни лучше, ни хуже.

«В этом нет никакого смысла, — подумал Граф, — наверно, я просто старею». Потом он подозвал к себе свою дочь и сказал ей:

— Ты отказала множеству женихов, дитя мое, а то, что этот человек так цепляется за свою подкову, да к тому же и ржавую, очень странно. И странно, что он принес ее сюда на продажу, но не продает, и при этом он сидит тут в поисках жены. И если я не докопаюсь, в чем тут дело, мне кусок в горло не полезет. Я должен или его повесить, или ты выйдешь за него замуж.

— Боже правый! Но он же так уродлив! — ответила графская дочь. — А виселица тут рядом...

— Да нет, — сказал Граф — не так поступали мои предки в стародавние времена. Я в чем-то похож на этого человека, и у меня нет для тебя соображений ни лучше, ни хуже. Поговори-ка, дорогая, с ним еще разок.

И дочь Графа снова обратилась к человеку.

— Мой отец, Граф, хочет заставить нас пожениться, — сказала она, — но ты так ужасно уродлив...

— Да, я ужасно уродлив, — ответил человек, — а ты прекрасна, как цветущий май. Да, я уродлив, и что с того? Мои предки были такими же...

— Бога ради! — воскликнула графская дочка, — оставь ты уже своих предков в покое!

— Если бы я это сделал, я бы не препирался тут на рынке ни с тобой, ни с твоим отцом, который косит на нас теперь глазом.

— Но согласись, — сказала графская дочка, — это очень странно, что ты тут собираешься взять меня в жены за подкову, которая к тому же еще и ржавая.

— По моему соображению, — ответил человек, — одна вещь не хуже...

— Да прекрати уже! — воскликнула графская дочка, — и объясни толком, почему я должна выходить за тебя?

— Смотри и слушай! — ответил человек.

И в это время сквозь Бедняжку пронесся ветерок, и он зазвучал, как плач младенца, и сердце ее дрогнуло

и растаяло, и с глаз ее спала пелена, и она увидела, что это был младенец, лишенный матери, и она взяла его на руки, и он растаял в ее руках, как воздух.

— Давай, — сказал человек, — узри наших детей, и семейный очаг, и седые головы стариков. Пойми, что этого достаточно, ибо на то Божья воля.

— Не особенно меня это радует, — ответила графская дочка, а потом глубоко вздохнула.

— Жизненный путь должен быть прямым, как ствол пушки, — сказал человек и взял ее за руку.

— И что мы будем делать с этой подковой? — спросила она.

— Я отдам ее твоему отцу, — ответил человек, — быть может, он сделает из нее для меня церковь или мельницу.

Вот так и получилось, что со временем Бедняжка появился на свет, и память о тех событиях дремала в нем, но он не помнил точно, что именно он сделал, и он стал частью первенца человека, и радовался вместе с ним, когда тот мужественно спускал лодку на воду и крепко держал рулевое весло и когда кольца цепи сжимались под ударами молота.



ПЕСНЬ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ



У Короля, повелителя земель Ду-
нтрина, на старости лет роди-
лась дочь, и она была самой прекрас-
ной королевской дочкой на берегах
двух морей; ее волосы были как зо-
лотая пряжа, а глаза — как круги на
реке, и Король подарил ей замок на
морском берегу, с террасой, вымо-
щенным камнями двором и четырер-
мя башнями по углам. В этом замке она жила и под-
растала, не заботясь по примеру простых людей о за-
втрашнем дне.

И случилось так, что гуляла она однажды осенью по
берегу моря, и дул ветер, готовый пролиться дождем; с
одной стороны от принцессы было бурное море, а с дру-
гой — мертвые листья, которые гнал ветер. Это был са-
мый безлюдный пляж меж двух морей, и в старину здесь
порой творились странные вещи. И тут королевская
дочка заметила старуху, которая сидела на берегу. Мор-
ская пена подступала к ее ногам, мертвые листья кружи-
лись за ее спиной, а ветер поднимал ее лохмотья, и они
плясали у ее головы.

«Да, — подумала принцесса, помянув про себя имя
господне, — наверное, это самая несчастная старая ни-
щенка меж двух морей».

— О, царская дочь, — промолвила старуха, — ты жи-
вешь в доме из камня, и твои волосы словно золото, но

какой в этом прок? Жизнь коротка, а человек слаб, ты существуешь по примеру бедняков, не думая о завтрашнем дне, и нет в тебе власти над временем.

— О завтрашнем дне я порой размышляю, но над временем у меня власти нет, — ответила принцесса и задумалась.

Тогда старуха хлопнула в ладоши и засмеялась, и голос ее был похож на вскрики чаек. — Иди домой, дочь Короля! — воскликнула она. — В свой дом из камня, ибо тоска уже гложет твое сердце, и ты уже не сможешь жить по примеру простых людей. Иди домой, трудись и мучайся, пока не придет к тебе дар, что обнажит тебя и пока не придет человек, что позаботится о тебе.

Ничего не сказала принцесса в ответ, а лишь повернулась и молча побрела домой. Когда же она вошла в свои чертоги, то позвала кормилицу.

— О кормилица моя, — сказала она, — я стала задумываться о завтрашнем дне, поэтому я больше не могу жить по примеру простых людей. Скажи, что я должна делать, чтобы обрести власть над временем?

В ответ кормилица простионала, словно снежная вьюга. — Увы! — сказала она, — такое должно было случиться, но запомни до мозга костей — нет лекарства от таких мыслей. Будь по-твоему, как ты пожелаешь, хотя власть не лучше слабости, и ты обретешь эту власть, но эти мысли холодят, словно зима, и они не покинут тебя до самой смерти.

И стала принцесса сидеть в своих сводчатых чертогах доме из камня, и стала она думать о своих мыслях. Девять лет просидела так она, а море билось о ступени террасы, и чайки заунывно кричали над башнями замка, и ветер завывал в его каминных трубах. Девять лет она не выходила из дому, не дышала свежим воздухом и не видела мира Божьего. Семь лет она просидела, не глядя ни направо, ни налево, и ни с кем не говорила, а только думала о завтрашнем дне. А кормилица кормила ее, и принцесса брала пищу левой рукой, и съедала ее без всякого удовольствия.

И вот, когда минуло девять лет, однажды осенью на закате ветер донес до нее звук, похожий на звуки труб.

Заслышав его, кормилица в чертогах подняла кверху палец.

— Я слышу завывание ветра, — сказала она, — но он звучит, как звуки труб.

— Это слабый звук, — ответила принцесса, — но мне и его достаточно.

И она спустилась в сумерках к входной двери и пошла берегом моря. С одной ее стороны бились волны, с другой ветер гнал мертвые листья, по небу мчались облака, а над ней летали и кувыркались от порывов ветра чайки. И когда она пришла к месту, где в стародавние времена случались странные вещи, она увидела старуху, которая плясала и кувыркалась на берегу.

— Отчего ты тут так выплясываешь, — спросила королевская дочка, — здесь, на промозгом берегу, среди волн и опавших листьев?

— Я слышала шум ветра, который похож на звуки труб, — ответила она. — Оттого-то я тут так и выплясываю. Ибо грядет дар, который обнажит тебя, и идет человек, который о тебе позаботится. А для меня завтра, о котором я думала, уже наступило, и время теперь в моей власти.

— А почему, старуха, — спросила королевская дочь, — ты трясешься, как лохмотья, и почему ты бледна, как мертвые листья пред взором моим?

— Потому что завтра, о котором я думала, уже наступило, и время теперь в моей власти, — ответила старуха и упала на землю, и в тот же миг обратилась она клубком водорослей морских, и стала морским песком, в котором копошились мелкие мерзкие твари.

«Это самая странная вещь, которая случалась на берегах двух морей», — подумала при этом принцесса Дантрина.

А кормилица в это время выбежала на берег и стала ломать руки и стонать, словно осенняя буря. «Я устала от этого ветра», — причитала она, сокрушаясь по этому дню.

А дочь короля узрела человека на морском берегу; капюшон закрывал его голову, и никто не мог увидеть его лицо, и под дланью его покоились трубы. И звук их был подобен осам звенящим или ветру, поющему на па-



житях, и он вливался в людские уши, словно надрывные крики чаек.

— Это ты должен придти? — спросила принцесса Дантрина.

— Я момент поворотный, — ответил он, — чьи трубы человек может услышать, и у меня есть власть над временем, и это песня завтрашнего дня. И он затянул и заиграл песню завтрашнего дня, и она была протяжной, словно годы, и услышав ее, кормилица горько зарыдала.

— Это верно, — сказала королевская дочка, — что ты трубишь песню завтрашнего дня, но как я могу знать, что у тебя есть власть над временем? Яви мне

чудо прямо здесь, на берегу, промеж волн и мертвых листьев.

— Для кого? — спросил пришелец.

— Вот кормилица моя, — ответила королевская дочка, — она устала от этого ветра, яви чудо для нее.

И, хоп! кормилица рассыпалась грудой мертвых листьев на берегу, и ветер закружил их, и в них закопошились мелкие мерзкие твари.

— Да, теперь я вижу, — сказала принцесса Дантрина. — Это ты должен был явиться, и у тебя есть власть над временем. Пойдем со мной в мои каменные чертоги.

И они пошли краем моря, и человек трубил песню завтрашнего дня, и листья кружились им вслед.

Затем они сели рядом, и море билось о ступени террасы, и чайки кричали над башнями, и ветер завывал в каминных трубах замка. И сидели они так девять лет, и каждый раз, когда наступала осень, человек говорил: «Настало время, и оно в моей власти», а дочь Короля отвечала ему: «Нет еще, сыграй мне лучше песню завтрашнего дня». И он затягивал ее, и она была долгой, словно годы.

И когда минуло девять лет, дочь Короля, правившего Дантрином, поднялась, словно опомнившись, и обвела взглядом свои каменные чертоги, и в них больше не было слуг, только человек, который трубит, сидел на террасе, закрыв лицо руками, а когда он затрубил, над террасой закружились листья, и волны забились о ее ступени.

— Пришло время! — громко крикнула ему принцесса. — Дай мне узнать его власть!

При этих словах порыв ветра скинул капюшон с головы человека, и вот! — под ним никого не было, лишь одежды и трубы свалились в кучу на углу террасы, а над ними закружились мертвые листья.

И дочь Короля, правившего Дантрином пошла на берег моря, где в стародавние времена творились странные вещи, и там она села на землю. Морская пена подступала к ее ногам, мертвые листья кружились за ее спиной, а ветер поднимал ее лохмотья, и они плясали у ее головы. И когда она подняла глаза, она увидела дочь Короля, идущую

щую берегом моря. Ее волосы были как золотая пряжа, а глаза — как круги на реке, и она не думала о завтрашнем дне, и у нее не было власти над временем, как и у обычных людей.



СОДЕРЖАНИЕ

Странная история доктора Джекила и мистера Хайда

ГЛАВА I	
ИСТОРИЯ ДВЕРИ.....	4
ГЛАВА II	
ПОИСКИ МИСТЕРА ХАЙДА.....	13
ГЛАВА III	
ДОКТОР ДЖЕКИЛ СПОКОЕН	24
ГЛАВА IV	
УБИЙСТВО КЕРЬЮ	28
ГЛАВА V	
СЛУЧАЙ С ПИСЬМОМ	34
ГЛАВА VI	
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ С ДОКТОРОМ ЛЕНАЙОНОМ	41
ГЛАВА VII	
ВСТРЕЧА У ОКНА	46
ГЛАВА VIII	
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ.....	50
ГЛАВА IX	
РАССКАЗ ЛЕНАЙОНЫ	67
ГЛАВА X	
ПОЛНЫЙ РАССКАЗ ГЕНРИ ДЖЕКИЛА.....	79

Притчи

ГЕРОИ ИСТОРИИ	100
ТОНУЩИЙ КОРАБЛЬ	105
ДВЕ СПИЧКИ	108
БОЛЬНОЙ И ПОЖАРНИК	110
ДЬЯВОЛ И ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ	112
КАЮЩИЙСЯ	114
ЖЕЛТАЯ КРАСКА	116
ДОМ КОЛДУНА	120
ЧЕТЫРЕ РЕФОРМАТОРА	128
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДРУГ	130
ЧИТАТЕЛЬ	132
ГОРОЖАНИН И ПУТЕШЕСТВЕННИК	134
НЕОБЫЧНЫЙ ЧУЖЕСТРАНЕЦ	136
ЛОМОВЫЕ ЛОШАДИ И ВЕРХОВАЯ ЛОШАДЬ	139
В ЭТОМ ЧТО-ТО ЕСТЬ	141
ГОЛОВАСТИК И ЛЯГУШКА	146
ВЕРА, ПОЛУВЕРА, ОТСУТСТВИЕ ВЕРЫ	148
ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ	151
БЕДНЯЖКА	159
ПЕСНЬ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ	166

В СЕРИИ
«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИКА»
НАПЕЧАТАНЫ:

А. Аверченко
ВЕСЕЛЫЕ УСТРИЦЫ



Ш. Бронте
ДЖЕЙН ЭЙР



Ж. Верн
ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
Джером. К. Джером
ТРОЕ В ЛОДКЕ
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ



Джером. К. Джером
СОЧЕЛЬНИК
С ПРИВИДЕНИЯМИ



Ч. Диккенс
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОВЕСТИ

З. Мазох
ЕВРЕЙСКИЕ СКАЗКИ
Н. Кун
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И
РИМА





Л. Кэрролл
АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС
АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

О. Генри
БЛАГОРОДНЫЙ
ЖУЛИК



Э. По
ЗОЛОТОЙ ЖУК
А. де Сент-Экзюпери
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ



В. Скотт
АЙВЕНГО
Тэффи
ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ



О. Уайльд
ПОРТРЕТ
ДОРИАНА ГРЕЯ
Г. Уэллс
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА



Роберт Льюис Стивенсон
Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда
Притчи

Компьютерная верстка,
предпечатная подготовка, обложка
А. Яскевич

Сдано в печать 04.12.2019
Объем 21 печ. лист
Тираж 3000 экз.
Заказ № 2310/19

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона
№ 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной
продукции, так как данное издание классического
произведения имеет значительную историческую,
художественную и культурную ценность для общества



ООО СЗКЭО

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44

E-mail: knigi@szko.ru

Интернет-магазин: www.szko.spb.ru

ООО «Издательство «ОНИКС-ЛИТ»

119017, Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1

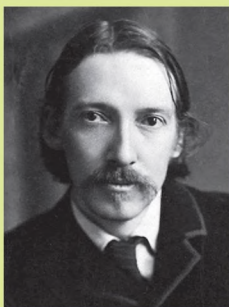
Отдел реализации: тел.: (495) 649-85-07

Интернет-магазины: www.labyrinth.ru, www.my-shop.ru, www.ozon.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А, www.pareto-print.ru



ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИКА



РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН написал историю про доктора Джекила и мистера Хайда в 1886 году. К этому времени он уже был автором «Острова сокровищ», который принес ему мировую славу. Новый шедевр писателя стал ярким примером жанра зарождающейся научной фантастики. Успех этой повести был невероятным — ее печатали сразу и в Старом, и в Новом свете. Интерес читателей подогревали и рассказы о разгуливавшем в то время по трущобам Лондона Джеке Потрошителе.

Наряду с «Франкенштейном» М. Шелли и «Дракулой» Б. Стокера история раздвоения личности доктора Джекила остается классикой литературы ужасов. Кроме истории о Джекиле и Хайде в книгу входит сборник из двадцати басен, притч, философских сказок, в которых ироничный стиль сочетается с фантастической фабулой. Цикл был создан Стивенсоном в последние годы жизни и был опубликован посмертно. На русском языке печатается впервые.

ЧАРЛЬЗ РЭЙМОНД МАКОЛИ — известный американский художник, получивший в начале XX в. за свои работы Пулитцеровскую премию.

ЭДМУНД ДЖОЗЕФ САЛЛИВАН — знаменитый британский иллюстратор конца XIX — начала XX в.

Е. Р. ГЕРМАН выполнил к «Притчам» иллюстрации в стиле модерн для издания 1914 года, выпущенного тиражом 105 экземпляров.

ISBN 978-5-9603-0508-2



9 785960 305082 >

Все книги серии «Иллюстрированная классика» напечатаны на специальной книжной дизайнерской бумаге Lux Cream шведско-финской фирмы Stora Enso. Благодаря нежно-кремовому цвету бумаги снижается контраст шрифта и страницы, что делает книгу максимально благоприятной и комфортной для чтения.